**Владимир**
**КУДРЯВЦЕВ**

# ШУФ

***Попытка литературного расследования***

**Книга II**

РЕНОМЕ

**«Реноме»**
**Санкт-Петербург**
**2014 г.**

**ББК 84. Р7**
**К 889**

Редактор – *Максим Швец*
Художественный редактор – *Марина Ясыченко*

**Владимир Кудрявцев**
К 889 **Шуф. Попытка литературного расследования. Книга II** – СПб.: «Реноме», 2014. – 176 с., илл..

Во второй книге автор прдолжает своё литературоведческое исследование. Первая книга начиналась, как настоящий детектив: автор случайно находит дневник неизвестного крымского литератора и тратит долгие годы на «расшифровку» записей.

В этой книге автор повествует о том, как узнал настоящее имя своего героя, сознательно или неосознанно «забытое» советским литературоведением.

В оформлении книги использованы фотографии Ялты 1870–1910 г.г. из собрания «Фотогалерея старой Ялты».

Книга будет интересна всем, кто любит русскую литературу и Крым.

**ББК 84. Р7**
**К 889**

© Кудрявцев В.И., 2014.
© «Реноме», 2014.

Литературоведческое расследование, начатое автором, продолжается.

В первой книге Владимир Кудрявцев рассказал предисторию возникновения темы и появления на свет своей работы.

Теперь автор называет настоящее имя своего героя и повествует о том, как ему удалось это имя идентифицировать. Кудрявцев не только приводит доступные ныне сведения о жизни и творчестве Владимира Шуфа, но и иллюстрирует их примерами из его творчества: журналистскими корреспонденциями, поэтическими произведениями, рассказами.

Перед читателем раскрывается ещё одна часть облика, характера и творчества таинственного и до сих пор малоизвестного поэта. Шуф, как оказалось, далеко не рядовой труженник пера, зарабатывающий на жизнь сочинением фельетонов для «Нового времени», имя которого покрылось толстым слоем пыли времени.

Шуф – выдающийся поэт, снискавший известность при жизни не только в Крыму, но и в Петербурге, и в Москве. Поэт высокого уровня и значения. В литературных журналах печатались его стихи и проза, издавались авторские сборники, на его стихи писалась музыка. Знакомство с Семёном Надсоном и Фетом,, с К.Р., встреча с Чеховым, которому, кстати сказать, стихи молодого автора совсем не понравились и, наконец, номинация на литератур-

ную премию одновременно с Иваном Буниным – все эти факты указывают в незаурядность таланта.

Сейчас можно констатировать, что и очерки Шуфа в широкоизвестной и популярной газете Суворина оригинальны, интересны и даже современны. Политические взгляды и журналистские мнения Владимира Шуфа и сегодня звучат актуально, по крайней мере, в отношении Крыма.

Владимир Кудрявцев и сам жил в Крыму, там и по сей день живут его родственники, может быть, именно поэтому автору так близок и созвучен его герой.

Вторая книга как бы обрывается на полуслове. Интрига остаётся. Что дальше? Какова была, например, личная жизнь поэта, его отношения с властьпредержащими, с собратьями по перу?

А личная жизнь автора книги и его героя уже пересекается во времени и в пространстве.

Владимир Кудрявцев и сам удивляется, когда неожиданно понимает, что записная книжка героя найдена им в ялтинском троллейбусе абсолютно не случайно. Это не было простым случайным событием, это – одно из звеньев цепи высших совпадений, предназначение, и даже не стечение обстоятельств, а – закономерность.

Хочется верить, что и готовящаяся автором третья книга о Владимире Шуфе не станет заключительной.

*Максим Швец*

***ЖЕНЕ – КУДРЯВЦЕВОЙ ГАЛИНЕ НИКОЛАЕВНЕ, ДОЧЕРЯМ – ОКСАНЕ, АЛЁНЕ И СЫНУ МАКСИМУ ПОСВЯЩАЮ***

**АВТОР**

*Когда свет месяца бесстрастно озаряет*
*Заснувший ночью мир и всё, что в нём живёт,*
*Порою кажется, что свет тот проникает*
*К нам, в отошедший мир, как под могильный свод.*
*И мнится при луне, что мир наш – мир загробный,*
*Что где-то, до того, когда-то жили мы,*
*Что мы – не мы, послед других существ, подобный*
*Жильцам безвыходной, таинственной тюрьмы.*
*И мы снуём по ней какими-то тенями,*
*Чужды грядущему и прошлое забыв,*
*В дремоте тягостной, охваченные снами,*
*Не жизнь, но право жить как будто сохранив…*

К.К. Случевский
(«LUX AETERNA»)*

*Не проклиная мир нелепый,*
*Увязший в безнадёжной мгле,*
*Поэты выпадают в небо,*
*Когда им тяжко на земле.*

Николай Колычев. г. Мурманск

*Моё дело сказать правду, а не заставлять верить в неё.*

Жан Жак Руссо

---

* – Вечный свет (лат.)

В. Шуфъ

## Первая половина первого десятилетия 2000-х

…Крым! Если бы тебя не было на Земле, тебя не смогла бы выдумать человеческая фантазия – ибо *такое*! – под силу только Творцу!

Крым! Ты для меня – такая же загадка, такая же необходимость, такая же мука, как любовь к женщине. Любовь, с той лишь разницей, что любимая женщина может предать, изменить, обмануть, ты же, Крым – *никогда;* ты можешь огорчить, опечалить, расстроить, но предательство, измена, обман – тебе неведомы.

Крым! Каждый раз, когда я вновь и вновь встречаюсь с тобой, в моих глазах – слёзы неописуемого восторга, безграничного счастья и всепоглощающей любви к тебе.

Крым!

Любите ли вы Крым так, как люблю его я? То есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением? О, езжайте, езжайте в Крым…, если можете!

Крым-Крым-Крым! – выстукивало моё сердце.

Крым-Крым-Крым! – ликовала моя душа.

Крым-Крым-Крым! – пели вагонные колёса.

Я ехал в Крым!

…Первое что я сделал, расквартировавшись в Алупке, – просмотрел телефонный справочник Большой Ялты. Шуфов (Муфов?, Туфов?) в нём не обнаружилось.

…Солнце, море, подъёмы на яйлы, походы с давними приятелями по Южнобережью – всё это под-

Слова В. ШУФА.

# Склонилось солнышко

муз. И. Лопухина.

Canto.

Скло_ни_лось
соя_ныш_ко къ по_лямъ зе_лё_нымъ ты слад_ко слышь не_ве_да_я за
вотъ Я ли_чикомъ лю_бу_юсь у_сып_лен_нымъ и грусть въ ду
ше не_воль_на_я рас_тетъ Но спи ус_
_ни от_даб_ся грезамъ сон_нымъ По_ка сберечь мо_гу я отъ не
взгодъ. Не такъ ли тамъ хра_ни_ма старымъ кле_номъ Въ са_
ду бе_рез_ка ю_на_я цве_тетъ Ни_слезъ, ни
думъ тя_же_лыхъ ты не_зна_ла какъ ми_ло_го ре_бенка я бы_ва_ло Те_
_бя ле_ле_ялъ на сво_ей гру_ди Я из_не_могъ и
сердце жить уста_ло что ждетъ тебя Что бу_детъ в пере_ди? Не
спи ус_ни тре_вогъ не раз_бу_ди

ходило к концу. «Сделаю-ка я последнюю гастроль в Ялту» – наказал я себе дня за три до отъезда.…

Знаете ли вы Набережную Ялты? О, вы не знаете Набережной Ялты! Пройдитесь по ней! Всмотритесь в неё! Божественная Набережная! Очаровательная Набережная! Нет ничего лучше Набережной Ялты! Она прекрасна в любое время года! Видели ли вы, как, вынырнув из-под стёганого одеяла свинцово-чугунной пучины, плывёт по-над Набережной Ялты, кровавя окрест, огромное, багровое блюдо солнца?; как, взрослея, наливается жаром?; как, возмужав, кинжалит-рвёт-режет-прокалывает своими раскалёнными мечами-стрелами мятую фольгу облаков? Видели ли вы, как буро-зелёные языки волн, стеная, лижут гранитную грудь Набережной Ялты? Слушали ли, как дышат-вздыхают, охают-рукоплещут, звончато звенят, переливчато смеются-хохочут, судачат синее пламя моря и распахнутая в объятьях Набережная Ялты и, как, припав к рябым волнорезам Набережной, перекликаясь, рыдают-всхлипывают, белогрудые чайки? Знаете ли, как заманивает, соблазняет, дурманит, околдовывает Набережная Ялты?

Но… Но, о, не верьте Набережной Ялты! Всё обман, всё мечта, всё не то, чем кажется! О, будьте начеку, не теряйте рассудка! Набережная Ялты – не место для рождения здравых мыслей, порывов, поступков, решений. Здесь – иной мир, иные оценки, иная мера, иные суждения.

…«А вдруг?.. – пронзила-ожгла меня мысль, когда я, объятый эйфорией, парил по Набережной Ялты,

– … почему бы и нет?» Пронзила-ожгла и направила к улице Дзержинского.

– Добрый вечер! Мне нужен адрес Владимира Шуфа, но фамилия его может быть и Муф и Туф – обратился я к сотруднице адресного бюро.

– Как вы сказали?

– Шуф. Посмотрите сначала на ша – Владимир Шуф.

– Шуф? Какая странная фамилия. А как его отчество? Не знаете? А дата его рождения?

– 22 января 1865 года.

Рука женщины дрогнула… Пальцы выронили шариковую ручку…

– Понимаете, у этого Шуфа, а, может быть, Муфа или Туфа, был сын Саша, у которого тоже мог быть сын, сын которого, возможно, живёт в Крыму, и была ещё дочь Таля… – выпалил я на одном дыхании.

…Сотрудница адресного бюро ещё держала паузу, но я уже понял, что мне пора уносить ноги. …Ещё долго в ушах моих шрапнелью бухали-рвались слова, которыми напутствовали меня из окошка адресного бюро.

…День отъезда я традиционно отдавал прощанию с Алупкой. Море, скала Айвазовского, Рыбачья бухта, Нижний и Верхний парки Воронцовского дворца, Большой и Малый хаосы, – им всем я обещал вернуться в следующем году. На обратном пути, в центре города, у памятника Амет Хана-Султана, меня застал ливень. Он обрушился неожиданно, тяжёлой, холодной стеной. Потоки воды неслись, переворачивая камни величиной с кулак мужчины. Ливень загнал

меня в Алупкинский исполком, здесь специалистом военно-учётного стола Ялтинского горвоенкомата работала моя тётя. Из-за острого неприятия её начальника, (платившего мне тем же), отставного военного, в прошлом – замполита, – я редко заходил к тёте на работу. Я уже отмечал, что замполиты – народишко сволочной, и потому одна лишь мысль о том, что возможна встреча с одним из его представителей, удручала меня едва ли не до колик. Моё положение усугублялось тем, что, выслушивая очередные националистические словесные экскременты бывшего работника идеологического фронта, я, уже наученный горьким опытом, находясь в присутственном месте, не мог вступать с замполитом в полемику, боясь навредить и себе, и тёте. В горах, в море, в лесу, один на один, без свидетелей – пожалуйста. А здесь, в горисполкоме, меня, как гражданина другого государства, замполит, бывший офицер Советской армии, мог обвинить в чём угодно: в поджоге Ай-Петринской Яйлы, в осушении реки Дерекойки, в дискредитации Меджлиса или, например, в агитации за отделение Крыма от «незалежной Украйны». И этому поганцу поверили бы. А Тамару, мою тётю, просто уволили бы с работы. (Тамара была не намного старше меня, и потому просила обращаться к ней только по имени, не обозначая степени родства).

…Пережидая ливень в тётиной рабочей комнатушке, больше смахивающей на кандейку, я сидел спиной к Тамаре и родителям призывника, которые шумно отстаивали право их сына на инвалидность, и лис-

тал подшивки местных газет. Подшивки газет в присутственных местах – явление не новое, не замполитами придуманное, но именно им, точнее, одному из них, я был обязан в тот день своей находкой.

Я уже упоминал, что за время службы в армии «пережил» 11 замполитов. Все они походили друг на друга, как запор, как недержание мочи, как несварение желудка, и, в то же время, разнились как запор, как недержание мочи, как несварение желудка. Один подстригался каждые две недели, и требовал того же от офицеров и прапорщиков. Жена этого майора работала парикмахером в гарнизонной парикмахерской, и таким образом он помогал ей выполнять план. Другой каждую субботу экзаменовал личный состав на знание солдатами, офицерами и прапорщиками морального кодекса строителей коммунизма. Третий…

…Каждое утро капитан Божечко начинал с просмотра подшивок газет в ленинской комнате. «Правда», «Красная Звезда», «Комсомольская правда», «На страже Родины», «Смена», «Вечерний Ленинград», «Ленинградская правда» – все эти семь сброшюрованных изданий самым тщательнейшим образом перелистывались-изучались замполитом на предмет их целостности. И не дай Бог, и упаси Боже, если капитан Божечко в какой-нибудь из подшивок не досчитается страницы! Берегись капитана и тогда, если газетная страница измарана надписью, штришками, чёрточками, кружочками, – да мало ли какие ассоциации возникают между мышлением и рукой

солдата советской армии, читающего советскую прессу. Обнаружив крамолу, замполит буквально «ставил раком» дежурного и дневальных по подразделению: «как истинным лицом девушки является наличие у неё девственной плевры, так истинным лицом ленинской комнаты является наличие у неё девственности её газетных подшивок! – орал он истово на всю казарму, – я вам устрою статус-кво! Где хотите, хоть родите, хоть высрите, хоть сами печатайте, но чтобы к вечеру подшивки были как целки, в надлежащем виде!»…

…Начальник моей тёти, вне сомнения, принадлежал к семейству таких замполитов. Потому что подшивки в приёмной военного стола были безукоризненны, надлежащи, целостны, не залапаны, – словно только что из типографии.

…Итак, я листал подшивки местных газет, листал до той поры, пока мои глаза не наткнулись на заголовок: «Возвращение Владимира Шуфа»!

…Когда я вышел из транса, первым порывом было – выдрать из сброшюрованной стопки газету. Я прикинул длительность акции, тактику и стратегию её исполнения, примерился, потянул страницу на себя, но вдруг мысль, что за утерю девственности подшивки отставным замполитом спросится с моей тёти, остановила меня. «Ох, уж, эти пресловутые родственные чувства!» – вздохнул я, доставая из пляжной сумки блокнотик.

…Через шесть часов, лёжа на верхней полке, ошарашенный происшедшим, под ритмичную переклич-

ку колёс я размышлял о невероятных превратностях, уготавливаемых нам, казалось бы, пустячными, случайными, ничего не значащими, и, подчас, тут же забываемыми, событиями.

«Более двадцати лет назад я, пропустив ***именно*** то необходимое число предыдущих троллейбусов, сел ***именно в тот*** троллейбус, в который несколько ранее сел ***именно тот*** старик, рядом с которым, ***вследствие толкотни*** пассажиров, оказался ***именно я,*** и как только ***именно я*** оказался рядом ***именно с этим стариком, старик*** заспешил на выход, ***оставив*** на сидении дневник, который, ***ожидая расшифровки***, более двадцати лет ничем не «проявлял» себя, но как только ***был расшифрован, последовали действия, не связанные*** между собой, ***исключающие, нейтрализующие*** друг друга, ***противоречащие*** друг другу, ***но***, каким-то образом, ***подводящие*** к одной и той же цели, ***к решению*** одной и той же задачи, ***к раскрытию*** одной и той же тайны, – размышлял я. – Адресное бюро; прощание с Алупкой; тётя, работающая в горисполкоме; замполит; ливень, загнавший меня в горисполком, подшивка, статья в газете – вся эта цепочка была предопределена? Каждое звено в этой цепочке – необходимо? У каждого звена этой цепочки – своё предназначение? В адресное бюро меня привели поиски Шуфа, в горисполком – нежданный ливень. Но если бы моя тётя работала не в горисполкоме, мне бы пришлось укрываться от дождя в другом месте! Более того, начальником моей тёти был отставной замполит, у которого едва

ли не главным было сбережение газетных подшивок, которые, в свою очередь, словно ждали своей очереди, то есть меня! Мистика? Случайность?»

…Когда я был холост, я увлекался философией. Женитьба охладила мои чувства, но, как время от времени, в мыслях, возвращаются к своей первой любви, так и я время от времени в мыслях возвращался к предмету своего былого увлечения.

…Поезд, натужно дыша и повизгивая, подминал под себя дебелое тело духмяной южной ночи. В вагоне спали. Смачное причмокивание колёс перекликалось с всхлипами, всхрапами, вздохами пассажиров, отдавшихся объятиям Морфея. В моей же голове шумел сегодняшний дождь.

«Если он был определён событиями, имевшими место неделю, месяц, несколько лет назад, значит, налицо связь явлений и причинности, виной которых принцип детерминизма и, стало быть, случайность и мистика здесь ни при чём? – рассуждал я. – В философии есть такое понятие – «детерминизм». Согласно принципу детерминизма* всякое событие, когда бы оно ни проходило, определено в каждый момент времени, и каждое происшедшее событие, включая и человеческие поступки и поведение, определяются множеством причин, непосредственно предшествующих данному событию. У Ивана Петровича Белкина

---

* – Детерминизм – учение об объективной закономерной взаимосвязи и взаимообусловленности всех явлений природы и общества, доктрина о всеобщей причинности. (Здесь и далее – прим. Вл. Кудрявцева)

Владимир* заблудился на крохотном участке земли. Пятивёрстный путь до Жадрино, где ждала невеста Марья Гавриловна, превращается для него в нескончаемое кружение по снегу и метели, узенькая площадь внезапно расширяется – это «судьба», лишившая Владимира невесты. Бурмину же, напротив, метель даёт невесту, с которой он тотчас же разлучается, но через 4 года «судьба» возвращает Бурмина к Марье Гавриловне. Свершилось то, что должно было свершиться, свершилось то, что было предопределено, то, чему никто и ничто не может помешать наступить, когда «пробьёт его час». Именно так рассуждал лермонтовский Вулич,** когда, приставив ко лбу пистолет, заявлял, что если предопределено ему умереть, то это произойдёт независимо от того, выстрелит он или нет; если же предопределено, что нынче он должен остаться в живых, то он останется жить независимо от того, спустит он курок пистолета или не спустит.

Статья Григория Пяткова в «Крымской газете» от 7 февраля 2003 года была именно тем «часом», который «пробил» для меня в тот самый момент, когда я был к нему более-менее подготовлен. Человек предполагает, а детерминизм располагает. Все мы под детерминизмом ходим», – заключил я.

…Переписывая лихорадочно в свой потрёпанный блокнотик **«Возвращение Владимира Шуфа»**, сокращая слова, я, естественно, не мог осмысливать содержание статьи, но теперь, когда предотъездные

---

* – Повесть И. П. Белкина «Метель»

** – Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»

треволнения позади, и поезд, безжалостно-садистски давя ночь, мчал меня к дому, а дальнейшие мои поступки были предопределены, ничто не мешало мне вдумчивому знакомству с материалом.

Я крутанул ручку бра, выудил из-под подушки кондуит и углубился в разбор своих каракулей.

«В списке лауреатов Пушкинской премии он стоит рядом с Иваном Буниным, а мы даже имя его забыли.

Судьбы творений писателей неисповедимы. Сколько их в мировой литературе, казалось, бесследно исчезло, а через сто и двести лет многие выплыли на поверхность времени и здравствуют по сегодняшний день, радуя читателей.

Особенно много покрылось мраком творений (да и самих творцов литературы) двадцатого века. При насильственной смене власти, жесточайших войнах, диктаторстве и безудержных обманах народа к власти приходят жесточайшие политики и изворотливые дельцы, для которых страна – полигон сведения счётов и обеденный стол, с которого надо урвать кусок пожирнее. Ни о какой духовности тут и речи быть не может.

Словно светящиеся брызги от упавших в чистое озеро литературы метеоритов революций и перестроек, разлетелись писатели и поэты по странам всего мира, а оставшиеся были расстреляны или изнывали в сталинских лагерях и тюремных застенках

На смену Гумилёвым и Павлам Васильевым пришли дельцы от литературы, помогая властям втаптывать в грязь времени таланты отечественной литературы…

## 1897-й год

1 марта 1897 года из Севастополя вышел пароход «Олег». Среди прочих, в большинстве своём состоящих из греческих резервистов Кавказа, Крыма, Екатеринослава, к берегам Босфора плыл и некий господин лет 35-ти. Приятная внешность, подчёркиваемая фигурной скобкой ухоженных усиков, изящной очечной парой в серебряном станочке, плюс пытливый, открытый взгляд, в котором светились образованность, решительность, воля, помноженные на общительность, искромётность, тонкое чувство юмора и … запах дорого табака, всё это почти тотчас располагало к нему собеседника.

Первым «пал» капитан «Олега» – он пообещал пассажиру выдать его (ежели вдруг возникнет таковая надобность) за члена своей команды, корабельного доктора.

– «По вине турецкого консула в Севастополе мой паспорт не был завизирован, но я надеюсь по прибытии в Константинополь ***как-то*** добраться до российского консула, который всё устроит» – заверил капитана пассажир.

При нём состоял горбоносый сотоварищ в татарском национальном костюме, расшитом золотом и позументом, с кавказским кинжалом в серебряной оправе, с крупной, в виде капли, серьгой в левом ухе.

Первую половину дня пассажир проводил в беседах с греками-резервистами, турецкими и армянс-

кими купцами, после же обеда в компании капитана запирался в каюте.

…Утром показался Стамбул. Пассажир съехал на берег в лодке с русскими монахами и при помощи всесильного в Турции бакшиша* ступил на землю Османской империи.

## 1870-е – 1890-е годы

### Под тон эллинон тагиера**

…Европа вновь стояла на «ушах». И вновь – из-за греков. Греция – первая из стран Балканского полуострова, сумевшая добиться независимости в ходе национально-освободительной войны 1821–1829 годов, не могла смириться, что Эпир, Фессалия, острова Крит, Самос и другие населённые греками территории, оставались собственностью Османской империи. Король Оттон I, возведённый на греческий престол европейскими державами, в нарушение договорённостей со своими опекунами-наставниками, платил им чёрной неблагодарностью: проводил независимую политику, конечная цель которой – вытеснение Турции в Азию, захват Македонии, Фракии Албании, не допущение усиления Сербии и Болгарии и, в конечном итоге – возрождение Византийской империи, гегемония на Балканском полуострове.

Такая наглость греков, каких-то 70 лет тому получивших независимость от Османского владычества, претила старушке-Европе. И отнюдь не из этичес-

* – Бакшиш (перс) – гостинец, взятка, подарок.

** – «Тон эллинон тагиера» – песня «Гимн свободы».

ких норм и соображений. Великие европейские державы, – а таковыми себя определили Россия, Франция, Великобритания, Германия, Италия и лоскутная Австро-Венгрия – имели-вынашивали свои сокровенные задумки и помыслы. Англия не мыслила себя без Крита, Франция – без Туниса и Египта, Германия – без Боснии и Герцеговины, Россия – без Дарданелл и Царьграда (он же Константинополь, Стамбул). Великие Державы осознавали, что рано или поздно султану Абдуле-Хамиду II придётся расстаться с большей частью своих владений, но время для этого Державы хотели назначить сами.

Именно потому, когда началась Крымская война* и греческие повстанцы взяли под контроль входящие в Османскую империю Фессалию и Эпир, на пути Греции по воссоединению этих территорий встали Великобритания и Франция, выступивших на стороне Турции.

Грекам оставалась ждать нового конфликта из-за турецкого наследства.

…В 1896 году тайная подпольная греческая националистическая организация ГЕТЕРИЯ ЭТНИКЕ (HETERIA ETNIKE) спровоцировала войну между дряхлеющей, трещавшей по швам, но всё ещё грозно огрызающейся Османской империей и крохотным, нищим Греческим королевством.

…Остров Крит. Этот клочок суши гораздо меньше времени подвергался турецко-исламскому влиянию, нежели многие иные балканские страны, которые с

* – Русско-турецкая война 1877–1878 г.г.

XIV–XV веков находились под османским игом. Христианское население Крита активно боролось против турецкого засилья, и турки вынуждены были считаться с этим. Всё управление и экономика находились в руках чиновников-христиан из числа местной верхушки, которой, однако, пришлось принять ислам…

С Крита – и началось.

Но если причиной одного из недавних восстаний критян было их категорическое несогласие на введение султаном налога на табак, соль и вино, то на знамёнах нынешних инсургентов* реяли лозунги «ПАТРИО И ЕЛЕВТЕРИА!»**

…Когда на Крите полыхнуло, и Абдула-Хамид II отправил на остров свои войска, Великие Державы ответили султану тем же – и шесть кораблей под флагами России, Франции, Германии и Великобритании бросили якоря на рейде крупнейшего критского города Канеи.*** Пока десанты моряков занимали город и брали под защиту иностранцев и христиан, был создан управляющий орган – Совет адмиралов, в который вошли капитаны интернациональной эскадры, и была разработана «дорожная карта» мирного урегулирования: султану предлагалось вывести с острова турецкие войска, объявить всеобщую амнистию, созвать Народную ассамблею Крита.

---

* – Инсургенты – гражданское население, посчитавшее своё правительство почему-либо незаконным и восставшее против него с оружием в руках.

** – «Патрио и Елевтерия!» – «Отечество и свобода!»

*** – Ныне – Ханьи

Между тем, в январе 1897 года турецкие войска проводят несколько контртеррористических акций, на что греческой флот объявляет мобилизацию. 4 февраля турки расстреливают демонстрацию христиан в Канеи, тысячи людей пытаются спастись на кораблях эскадры Великих Держав, Греция направляет в Канеи броненосный крейсер, а ещё через несколько дней туда отплывает флотилия миноносцев под командованием греческого наследного принца Георга. Через неделю на остров высаживается экспедиционный отряд полковника Вассоса, полковник объявляет о присоединении острова к Греческому королевству, наступает на Канеи, Вассоса поддерживают повстанцы; международный флот обстреливает их позиции. Высадка греков на остров настолько обрадовала местных христиан, что вскоре на Крите практически не осталось ни одного живого мусульманина.

2 марта Великие Державы и Турция предъявили Греции декларацию, в которой заявлялось, что о присоединении Крита к Греции не может быть и речи, острову будет предоставлена широкая автономия под властью султана, турецкие гарнизоны будут выведены, а посему греческие подразделения должны покинуть Крит и отвести свой флот на базы.

Греция проигнорировала декларацию и без высочайшего соизволения на то Великих Держав, вела подготовку к освобождению единоверцев и единокровных Фессалии и Эпира от османского ига, будоража Европу, лишая её покоя и сна, вынуждая её стоять на «ушах».

Словом, в который раз всё смешалось в доме хитрюги-Европы.

## 1897 год

**Турция. Константинополь.**
**Греция. Афины.**

«…<…> В маленькой и прекрасной Греции также раздавались теперь угрозы, военные крики, которые мне пришлось так скоро услышать... …Благодаря усиленной охране, Константинополь спокоен. Я присматривался к настроению толпы и не заметил в ней особенного возбуждения. О событиях в Греции турки говорят без раздражения, с видом глубочайшего презрения к военным силам Греции. О «священной войне» нет и помину. Турки величественно курят кальяны в кофейнях, как будто ничего особенного не случилось.<…> Я пытался говорить с константинопольскими греками о событиях на Крите, но греки пугливо озирались и спешили ответить, что они верные подданные падишаха. Стены Стамбула имеют глаза и уши. Я невольно сравнивал спокойствие мусульман с общим возбуждением греков.

Турки не верят в возможность войны. Они рассчитывают на воздействие держав Европы на маленькую и задорную Грецию. Греки, наоборот, хотят войны и ждут только наступления 25-го Марта, – дня, в который вспыхнула война за освобождение Греции в 1821 году. К этой эре греки хотят приурочить первое движение своих войск на границах Фессалии.

Спокойствие Стамбула показалось мне странным, даже мертвенным. Патрули, войска – это какая-то внешняя тревога. …Мусульманский фанатизм стих после резни армян. Улицы кишат народом, в гавани множество судов, но в городе нет ни денег, ни торговли. Все дела стали. Стамбул, великолепный торговый город, по местоположению долженствующий играть важную роль в международной торговле, имеющий все условия для обогащения, сидит без гроша денег, уснул в бездействии и обеднел. Политические события последнего времени убили в нём жизнь, а мусульманский мир не имеет энергии, могущей дать новый толчок жизненной деятельности одного из величайших городов Востока. Это заживо погребённый город. Только другой народ, другие люди могут воскресить покойника, которого называют почему-то «больным человеком». Больной давно умер.

Борей».

«…Был в редакции лучшей турецкой газеты «Саба» – «Утро».<…> Профессор Гассан Эддин, редактор газеты, <…> заговорил со мною на прекрасном французском языке и был очень удивлён, когда я ответил ему по-турецки. <…> Гассан Эддин жаловался на стеснения турецкой цензуры. В газетах Константинополя пишут очень мало о современных событиях, ограничиваются обиняками и заведомо искажают известия…<…> Из турецких газет ровно ничего нельзя узнать о Крите и Греции. Гассан Эддин находит, что военные действия могут не сегод-

ня-завтра открыться на границах Фессалии и боится общеевропейской войны.

Он тонко улыбается, говоря, что весь мир и каждая нация отдельно считают «наш Константинополь своим». В современной политике Гассан Эддин видит преобладание личных интересов и эгоизма нации над общими идеалами и идеями цивилизации.

<…>

Я был в нашем посольств, где мне посоветовали тотчас ехать в Афины. «Там теперь узел всех политических событий, – сказали мне в посольстве.– Мы сами получаем известия из Афин. Если войны не будет, и начнутся реформы в Турции, тогда центр всех интересов будет опять перенесён в Константинополь».

Меня предупредили, однако, что в Афинах сильное возбуждение, и греки очень дурно относятся к русским. Двум русским отказали в обеде в ресторанах и не дали номеров в отелях. Я решил всё же отправиться завтра же на быстроходном египетском пароходе «El Kahira» в Пирей.

Вечером я бродил по улицам Константинополя и встретил в одной кофейне нашего старого знакомого борца Кара-Ахмета. … …Кара-Ахмет мне очень обрадовался и сопровождал меня весь вечер. С таким телохранителем я чувствовал себя в полной безопасности и решался заходить даже в буйные кафе-концерты Галаты. В тёмной улице до нас долетел отчаянный крик из одного из соседних домов. «Режут кого-то», – равнодушно заметил Кара-Ахмет. У меня невольно сжалось сердце от этого крика. Крик боли даже

## Поэмы.

1) Бакланъ. 2) Гортенція. 3) Въ царствѣ сновъ, 4) Чабанъ, 5) Постой.

## Юность.

1) Творчество
2) Тучки
3) Дріада
4) Въ непогоду
5) Пѣснь безталаннаго
6) Изъ Элегій Капрали
7) Притча
8) Тревка
9) Песня
10) Дубъ и мамоза, элегія —
11) Старое письмо
12) Ива
13) Если чесать лезурь...
14) Чатырдагъ —
15) Выздоровленіе сонета
16) Изгнанникъ сонетъ
17) Лучъ
18) Пѣсня
19) Ивановъ
20) Одиночество
21) Борону Гередорфу. Пѣсня въ Крыму [illegible]
22) Октава
23) Изъ письма
24) Письмо
25) Отчего ты сѣдѣлъ
26) Не смерть Нодсона
27) Не отстанешь, сонетъ —
28) Утомленный жестокой борьбой
29) Когда душа моей больной
30) [illegible]

Пѣсни Крымскихъ татаръ

28 пѣсенъ изъ альбома публицистъ. "Думы"

## "Идеи"

1. Старая картина 15/94
2. Средняя пора — 19
3. Деревня — 28/95
4. Завѣщанье — 20/94
5) Шеймокъ
6. Основательность
7. Двѣсилы — 30
8. Муравьи — 31
9. Китайскія гримоны
10. Табунъ
11. Въ вѣчной борьбѣ 34
12. Въ театрѣ (къ открытію сезона) 35
13) Осенній листъ — 36
14) Антракты 37 Бузенія
15 Велосипедъ — 39
16 Въ циркѣ — 41
17. Надгнилой — 42
18. Обстановка — 44
19) Левъ-багнопасецъ — 45
20) Въ часъ заката
21) Зима — 50
22 Философія — 3/95
23. Мизерные — 5
24 Безлюдный — 10
25. Передъ концомъ — 12
26 [illegible] — 18
[illegible]

47) [illegible]
48) Мои тѣ снова дни
49) Октава
50) Отъ грустныхъ думъ

44. Марксистамъ — 6
45. Весенній лучъ — 16

у мужчины переходит в какой-то жалобный женский или детский стон. Несмотря на этот кровавый эпизод, на движение вооружённых патрулей по полутёмным улицам, столица Падишаха кажется очень весёлой. В кафе-концертах играет турецкая музыка, арабские танцовщицы танцуют и поют во вкусе известной Бен-Байя. В паланкинах проносят по улицам закутанных в белые фереджэ турчанок... <…> Умирающий Стамбул всё ещё прекрасен, полон таинственными чарами Востока, и полумесяц ярко горит над ним в тёмной синеве ночного неба.

Борей».

«…В Греции меня ожидала политика, национальные страсти, борьба и смута; <…> … толпы солдат и греческих волонтёров, оборванные беглецы с острова Крита, дети, марширующие с бумажными знамёнами. На платформе железной дороги толпились резервисты, отправлявшиеся партиями в Фессалию.

....Во всех кафе, в табльдоте отеля говорят только о политике, о бомбардировке Малаксы, об отъезде принца Константина в Фессалию. Афиняне страшно возбуждены. «Если не будет войны, будет революция!» – говорят они. Король Георг не пользуется расположением за то, что он благоразумнее своих подданных.

– Чего же вы хотите? – спрашивал я греков.

<…> Греки хотят получить Македонию, если им не дадут Крита.

Я говорил с некоторыми профессорами афинского университета, и они мне сказали, что Греция, быть может, удовлетворилась бы автономией Крита под ус-

ловием, что островом будет управлять королевич Константин. «Мы не можем уступить Европе, – говорили мне, – Крит нам стоит больших денег и, кроме того, нам нужна Македония. Нам слишком тесно в границах теперешней Греции. <…> Нам нужны, по крайней мере, острова. Если Греции теперь не удастся осуществить свои национальные стремления и привлечь симпатии Европы, ей это не удастся уже никогда».

Но Европа не желает войны… – думал я. Какое дело Европе до греческого национализма, который может очень дорого ей обойтись. Греция хочет нажиться за счёт Турции, отобрать у неё в свою пользу несколько провинций, – вот весь смысл греческой политики.

Мне наговорили много жалких слов редакторы афинских газет: «Акрополиса», «Аети» и других. Но требуют ли общие интересы Европы изменения её географической карты? Сколько жертв и крови может быть принесено на алтарь эллинофильства!

Настало ли время решить окончательно восточный вопрос? Европа не хочет и боится войны. Маленькая Греция, начав военные действия, может дать толчок, который вызовет общую борьбу, столкновения интересов различных государств на Востоке, целую мировую катастрофу! Греческий национализм не более, как греческий эгоизм в данное время. Но греки так возбуждены теперь, что не могут рассуждать хладнокровно, и не поймут интересов, существующих у других наций. Не только простые аргументы, но и более веские – бомбы интернационального флота не убеждают греков.

<…> …Греция деятельно готовится к войне. Патриотическое общество «Heteria Etnike» имеет большие средства, деньги и оружие. Каждый день прибывают партии резервистов и волонтёров. Вчера две тысячи волонтёров устроили демонстрант. Они ходили по городу с распущенными знамёнами и барабанным боем. Греческие войска в Афинах довольно красивы, хотя солдаты малы ростом. Особенно эффектна гвардия королевы в национальных костюмах, фустанеллах – широких белых юбках со складками и красных греческих фесках с длинными кистями.

Греки уверяют, что их армия в военное время достигнет 250.000 солдат, но теперь на границах Фессалии сосредоточено всего 80.000.

Получены подробные известия о бомбардировке Малаксы. Греческие инсургенты* на Крите взяли Малаксу и перебили турецкий гарнизон. Флот открыл канонаду по инсургентам. Выпущено 60 снарядов. Инсургенты отступили. Малакса вся в пламени.

Сегодня я был в королевском дворце у моей знакомой, русской графини. Во дворце настроение удручённое. Не знаю, удастся ли мне получить аудиенцию у короля. Я буду у министра-президента – г. Дельяниса.

Борей»

«<…> Королевич Константин сегодня отправляется в Фессалию, где примет начальство над войском. С королевичем едут до Воло его супруга, принцесса София и сестра, принцесса Мария. Афины с нетерпением ждут отъезда королевича, любимца афинян, на

которого возлагаются надежды нации. Около дворца королевича большая толпа народа. Изредка раздаются аплодисменты, выражающие нетерпение. Афиняне ждут выхода из дворца депутации, отправленной городом к королевичу. Адрес, подносимый депутацией, гласит: «Победа или смерть!» – древнее спартанское изречение <…> Наконец, из стеклянных дверей мраморного дворца выходят депутаты, останавливаются на ступенях крыльца и передают от королевича Константина толпе очень политичный ответ: «Я сделаю всё, что возможно». <…> Королевич говорит, что уезжает сегодня в Фессалию между 9-ю и 11-ю часами вечера и просит не делать шумных оваций. Толпа встречает этот ответ восторженно: аплодисменты, крики «зито»*.

<…> В половине десятого королевич выходит из дворца и садится в карету, которая должна отвезти его в Пирей. Толпа бежит за каретой, машут шапками, кричат «Зито! Да здравствует Эллада! Да здравствует королевич Константин! Да здравствует королевская фамилия!» <…>

После отъезда королевича толпа долго не расходится. По улицам движутся процессии с пением национального гимна и греческих песен. <…> Настроение восторженное. Вспыхивают огни иллюминации. Теперь уже поздняя ночь, а под окнами отеля всё ещё слышны голоса и пистолетные выстрелы. Афины в самом боевом настроении. Греки пока ограничиваются пальбой холостыми зарядами и, ка-

* – Зито (греч.) – Ура, Да здравствует!

жется, не думают, что взрыв греческого энтузиазма может также оказаться холостым выстрелом... Недавно, впрочем, афинские студенты застрелили на конке своего 15-ти-летнего товарища, пытавшегося уклониться от демонстрации.

<…>

В Афинах произвёл сенсацию слух, что во фронте турецкой армии находятся два русских офицера. Не знаю, так ли это, но на службе у турок всегда было много иностранных офицеров. Греки почему-то ужасно этим возмущены, и «Акрополис» сообщает, что командир греческих инсургентов в Фессалии обещал албанцам вознаграждение в 2.000 драхм за голову иностранных офицеров, служащих в рядах турок. Греческие газеты сообщают много вздорных известий. <…>

В отеле, где я остановился, есть несколько английских корреспондентов. Это бессовестные люди, не говорящие ни на одном языке, кроме собственного. Англичане думают, что все обязаны говорить по-английски. Они должны жестоко в этом разочароваться, по крайней мере, в Афинах. По-русски тут говорят гораздо лучше.

Видел несколько номеров афинских юмористических журналов. Им недостаёт аттической соли, особенно когда они рисуют карикатуры на русских. Изображать Россию в виде северного медведя совсем не ново и не оригинально. В одном журнале северный медведь изображён даже с крылышками, которые подрезывает ножницами Греция. Греция, подрезывающая крылья России! Какое курьёзное наци-

ональное самомнение! Англию греческие журналы изображают симпатично. Это весьма характерно для современной политической настроенности Греции.

<…> Я в отчаянии: почта <…> идёт из Афин только три раза в неделю.<…> В довершение всего, письма путешествуют по всей Европе с вольностью туристов, останавливаются в Вене, осматривают музеи древностей и попадают в <…> чуть ли не на десятый день.

Борей».

«Афины взволнованы известием о блокаде. Нота союзных держав категорически заявляет правительству Греции, что в случае, если греческие войска не будут отозваны из Фессалии, через тридцать шесть часов, союзный флот блокирует порты Воло, Арту и Пирей. <…>. …Я отправился в министерство финансов, чтобы переговорить с первым министром Дельянисом, но в министерстве происходил спешный совет министров по поводу блокады и ответа на ультиматум держав. Г. Дельянис обещал принять меня завтра в 8 часов вечера.

Я думаю, что греческим министрам снова придётся ответить на ультиматум Европы жалкими словами о гуманности и филантропических чувствах. Отозвать войска из Фессалии невозможно по той простой причини, что они не захотят вернуться. Возбуждение греков слишком велико. Правительство потеряло всякую власть и плывёт по течению. В парламенте предстоит бурное заседание. Военный министр завтра отправляется к войскам в Фессалию.

От Лариссы до Арты, по границе Фессалии расположились два фронта войск: греческие войска под начальством принца Константина и турецкие под начальством Этем-паши. У Арты, вопреки берлинскому трактату, турки построили укрепления и батареи с огромными крупповскими пушками. К греческому фронту прибывают всё новые партии волонтёров, среди которых много иностранцев, любителей сильных ощущений: тут есть итальянцы, англичане, датчане. Греческая армия теперь достигает ста тысяч. Если Воло и Арта будут блокированы союзным флотом, греческое войско очутится в критическом положении: оно будет отрезано от остальной Греции. Позади фронта трудно проходимые горы Фессалии.

Армии неоткуда ждать подкрепления, и при первом поражении она будет уничтожена турками. Но греки, очевидно, не боятся потерять голову в битве, так как они уже потеряли её в политике.

<…>

Борей»

« <…> …И с какой стати нам <…> руководиться греческим патриотизмом? У нас есть свои национальные задачи. Я говорил с одним молодым греческим патриотом, принадлежавшим к богатой афинской фамилии. Он прямо заявил мне, что греки хотят получить Константинополь, что границы Греции должны быть у волн Босфора. Расширение греческого королевства и усиление его идёт прямо в ущерб нам. Кроме того, мы, вместе со всей Европой, хотим

мира, а не войны. И может ли быть восстановлена старая Греция? <…>

Современная Греция казалась мне живым саркофагом минувшего. Вся страна, с её античными развалинами, производит грустное впечатление гробницы. Всё великое и прекрасное в ней давно миновало и умерло... Современные греки, малорослые, узкоплечие, кажутся выродившейся нацией. Их патриотизм, их теперешнее увлечение национальными идеями, быть может, симпатичны, но трудно верить в осуществление их греческих мечтаний. <…>

…Греческие офицеры не производят хорошего впечатления. У них необычайно щегольской вид, французские эспаньолки a la Наполеон III. Мундиры самых нежных цветов и необычайные султаны из лазурных перьев каких-то райских птиц. Офицеры ежедневно маршируют по городу, салютуя саблями, во главе своих маленьких солдат и с военным оркестром, наигрывающим самые весёлые марши. Благодаря этим офицерам и маршам, город имеет самый беззаботный и легкомысленный вид, когда проходят солдаты.

<…> …О чём думают афиняне, и думают ли они о чём-нибудь вообще? Что скажет ареопаг министров в ответ на грозную ноту держав?

<…> …Из Фессалии в Афины вернулось несколько французских корреспондентов. В Фессалии пока нет ничего интересного, и там очень трудно получать новейшие известия. Что касается французских журналистов, то наши друзья и союзники, кажется,

# Крымскія стихотворенія

Изданіе второе

Посвящ. Е. Н. Лермонтовой

## Лирическія

1) Ласточка к старцу
2) Под звездами
3) Мимоза
4) Сон
5) Ялтинская ночь
6) Туманы
7) Тавида
8) Не стоит мне лгать?
9) Песенка элегія ++
10) Сумерки
11) Въ предгорьи
12) Каждка
13) Кошь
14) Три тополя
15) Шаир
16) Калейдоскоп
17) Казань
18) Утро в горах
19) Кипарисы
20) Миндальное дерево
21) Вечер
22) Бубенчики
23) Северная ночь —
24) Насыпь в Крыму —
25) Сальгир
26) Горн. перевалъ На перевалѣ
27) Мнѣ снилось
28) Цыганенокъ
29) Тора Гиз Симферополь
30) Как скучно ++
31) Печенегъ ++
32) Стонетъ —
33) Синица —

## Сатирическія

1) Веельзевул
2) Крымская
3) Смерть
4) Лягушки
5) Вырождение
6) У камина
7) Канаду.
8) Песенное дуновение
9) Анахарсис
10) Ветерка
11) Сонъ чиновника
12) Ябеда
13) Но хорошъ
14) Литератъ. за суда
15) Правдивые
16) Осень (осколк.)
17) Барашки.
18) Не стрижетъ.
19) Жалоба Телемаку
20) Сфинкс
21) О, женщина!
22) Мужчина
23) Дамочка.
24) Дешевая прозаика
25) На выставкѣ
26) Видение N N —
27) Весне.
28) У окна в Европу.
29) Кошка весенняя (из Гаспарина № 7 Библиотека для чтенія)
30) Осенъ, людей
31) Гусь, Гусь.
32) Сестра [illegible]
33) [illegible]

Крымскія стихотворенія

I На пути
II Юность.
III Изгнанникъ
IV Дума.
V

Индійская легенда

80) [illegible] в старчески рожденъ ребенка.

Греція

весьма расположены к Греции. Я беседовал с корреспондентом «Libre Parole». Он уверяет, что министерство скоро падёт в Париже, и французы перейдут на сторону Греции. Нация сочувствует грекам. Впрочем, я не думаю, чтобы французы изменили дружбе России ради греческих интересов.

Я был сегодня во дворце и просил аудиенции у его величества короля Георга. Мне обещали дать ответ. Правду говоря, королю теперь не до аудиенций. Быть может, он один думает теперь за всех в Греции.

<…> …где-то за кулисами решают судьбу Греции и европейского мира. Завтрашний день чреват событиями.

Борей».

«…Из Фессалии приходят всё более тревожные известия. <…>

…Этхем-паша, начальствующий над турецкой армией в Фессалии, одним быстрым переходом передвинулся от Элласоны к городку Дамасси, самой границе Греции, и, расположив тремя корпусами свою армию, стал в боевом порядке перед греческими войсками. Греческая армия под начальством принца Константина построена в том же порядке.<…>

…Таким образом, обе армии стоят теперь друг против друга, лицом к лицу, в расстоянии двух пушечных выстрелов. При первом сигнале к войне произойдёт генеральное сражение. Красное знамя с золотой луной и голубое с белым крестом подняты перед битвой. Если союзным державам не удастся остановить

Грецию, катастрофа неизбежна. Греки не желают признавать интересов других наций и безразлично относятся к спокойствию Европы. Силы Этхем-паши в данное время значительно увеличились. У него до 45 тысяч солдат. Греки располагают приблизительно тем же количеством регулярного войска, а вместе с волонтёрами и инсургентами, по всему протяжению границы, их наберётся до ста тысяч.

<…>

...У турок близ города Арты, сосредоточена ещё пятнадцатитысячная армия, состоящая, по греческим источникам, на три четверти из албанцев, очень воинственных, но далеко не преданных Турции. Против этой армии в Фессалии стоит Андреас Скалцедомос, греческий депутат и начальник значительного корпуса инсургентов. Кое-где на границах Фессалии уже происходят отдельные стычки.

<…>

...К войне готовятся очень деятельно. Принцессы София и Мария, проводив принца Константина до главной квартиры греческих войск, устроили в Лариссе госпиталь…

<…>

...С Крита приходят всё новые известия о бомбардировках союзного флота и стычках турок с инсургентами. При Плакии и Ай-Васили английский пароход должен был выпустить 31 снаряд, чтобы заставить инсургентов отступить. Башибузуки разграбили Вигло и Палио Кастро, а в Эраклионе итальянский крейсер должен был отправить десант в 250 матро-

сов для охраны местного археологического музея. Полковник Вассос пока заявил себя только в том, что отправил к адмиралам союзного флота прокламацию, в которой объявил весьма торжественно, блокаду Крита иностранными судами «актом варваризма».

Таким образом, греки обвиняют в «варварстве» уже не одну Турцию, но и целую Европу.

<…>

…Положение иностранцев в Афинах, становится всё неприятнее, и мы не без опасения ожидаем 25-го Марта, когда здесь празднуется освобождение Греции, и национальные страсти особенно разгораются. Благодаря современным событиям, праздник 25-го Марта будет в этом году особенно демонстративным. В этот день в Афинах ожидается или объявление войны, или революция. Греки открыто об этом говорят на улицах и во всех кафе. Неприязненное отношение греков к иностранцам сказывается даже в мелочах. Сегодня я завтракал с одним дипломатом в отеле «Grande Britania».

– Прикажете подать кофе по-французски? – спросил грек-лакей.

– Нет, дайте турецкий кофе! – ответил дипломат.

– У нас нет турецкого кофе, есть греческий! – грубо сказал лакей.

Дипломат, оказывается, поступил недипломатично, спросив турецкий кофе в Афинах!

Мой знакомый, русский, недавно приехавший в Афины, был за обедом представлен барышне, гречанке, из очень известной афинской фамилии.

– Я с вами здороваюсь, – сказала она, – но не подумайте, чтобы ваш приезд мог здесь кого-нибудь обрадовать!

Другая греческая дама, встретив на улице американку, которая замужем за русским, заявила ей, полушутя-полусерьёзно, что целует её как американку, а не как русскую. «Русскую я бы не поцеловала!» – сказала она.

– Очень жаль, что я этого не знала! – ответила русская дама, – я бы тогда с вами не поцеловалась!

Как видите, в Афинах воинственное настроение даже у дам высшего общества. Что сказать о мужчинах и о толпе простого народа?

Если начнётся блокада Пирея, <…> блокада ещё более раздражит греков против иностранцев. Я провёл всю неделю в Афинах, и уже за это короткое время отношение к русским, французам и немцам значительно изменилось к худшему. Секретарь королевы г. Философов избегает принимать у себя русских, своих соотечественников. Греческие газеты, раздувающие события, относятся к иностранцам с полнейшей нетерпимостью.

Я на всякий случай зарядил револьвер.

Борей»

«…Сегодня в Афины должна прибыть партия англичан-волонтёров в 250 человек, отлично вооружённых. Волонтёров в Греции очень много, и в Афинах из них уже сформирован иностранный легион со знамёнами всех наций. Тут англичане, шведы, немцы, итальянцы. Вот только ни одного русского.

…У Акротери, близ Эраклиона, было большое сражение, в котором участвовало 8 тысяч греческих инсургентов и 10 тысяч регулярных турецких солдат. Битва продолжалась несколько часов подряд. Много убитых и раненых. Над инсургентами начальствовал Коракас. У них была артиллерия, состоявшая из 15 пушек под начальством Дафотиса. Результатов сражения афинские газеты не сообщают: очевидно, греки были разбиты. Близ Ретимно также было сражение, продолжавшееся 9 часов подряд. Убито 7 турок и 4 грека. Много раненых. Форт Изеттин находится в столь опасном положении, что он занят отрядом союзных войск под начальством английского офицера. Итальянские и французские солдаты заняли также местечко и форт Бору. Австрийцы захватили Акротери и дорогу в Суду. Несмотря на блокаду и усиленную охрану берегов Крита, оттуда тайно, на маленьких лодках, пробрались Кокинис и несколько инсургентов участвовавших в сражении под Спиналонгой. Эти инсургенты привезли в Афины захваченное ими немецкое знамя. Из Фессалии сообщают, что капрал эвзонийского батальона выдал за 25 лир туркам план расположения греческих войск и их артиллерии. Шпион пойман. Этот факт несколько компрометирующего свойства: эвзонийские батальоны – самое надёжное войско Греции. <…>

Борей».

«…Англия втайне поддерживает <…> движение греков и своим участием в союзе держав только пре-

пятствует принятию энергических мер. Афины, Крит полны английских агентов, раздающих деньги под видом вспомоществования разорённым критянам.

Гуманные чувства, по всем вероятиям, удержат Европу от решительного шага, и она не захочет своим военным могуществом раздавить маленькую Грецию, а Греция способна уступить только силе. Надо думать, что после войны в Македонии и Фессалии дело кончится компромиссом. Весьма возможно, что Криту будет дана автономия под управлением принца Георга Греческого, что будет равносильно присоединению острова к Греции. Без Македонии греки пока обойдутся. В войне с турками трудно сомневаться, – только война может дать исход общему возбуждению греков. Это своего рода кровопускание, которое спасает от апоплексического удара. Греческие инсургенты, в числе 3.000 человек, вчера уже перешли границу Македонии, и засели в горах. <…> Нервы напряжены до крайних пределов и не сегодня-завтра раздастся сигнал войны. Этой войной на Востоке, которой опасается Европа, Греция хочет добиться уступок. Я не думаю, чтобы вулкан политических страстей, действующий в Греции, мог вызвать всемирное землетрясение, общую войну, разделение Турции или что-нибудь подобное. Ещё не настала минута разрешения восточного вопроса. России, конечно, выгодно и необходимо пробрести ключ от Босфора, но к этому ключу протянуто слишком много рук. Англия боится России, опасаясь за Индию, которая, как здесь говорят, ждёт спасения от русских и «видит в Русском

Императоре – Мессию, спасителя Индии». Но зачем заглядывать так далеко в необозримые политические горизонты будущей истории? Если Константинополь не может быть русским городом в данное время, то для России полезно сохранить расшатанную Оттоманскую Порту в виде политического буфера, подобного тем буферам, которые созданы Англией на границах Индии и России в Азии. Константинополь в слабых руках султана всё же лучше, чем в руках Англии или какой-нибудь другой враждебной державы, стремящейся замкнуть нам выход из Черного моря. Наша политика, прекрасно сознающая русские интересы, стремится к сохранению целости Оттоманской Порты вовсе не из любви к туркам. Нас напрасно считают туркофилами. Мы также не ярые эллинофобы, мы не желаем зла маленькой Греции, но у нас есть свои национальные интересы, свои задачи на Востоке, которыми мы не обязаны поступаться ни для кого. Мы, наконец, хотим общего спокойствия и мира; нарушать их кровавой войной – опасно и преступно.

Только грекам нет дела до всего цивилизованного мира, только им их национальный эгоизм кажется чем-то идеальным и героическим. Они готовы на войну, раздор, кровопролития.

Борей»

«…В Афинах в данное время образован целый иностранный легион. Среди добровольцев, обмундированных в греческую форму: в жёлтые сапожки и высокие кепи, в синие мундиры с красным воротником,

есть много датчан, англичан и итальянцев. На днях, в числе волонтёров, появился даже один русский: какой-то кавказец в черкеске с газырями.<…>

<…> Англичане и датчане сидят с трубками в зубах во всех афинских кафе, показывают маленьким грекам свои мускулы и пьют вино дюжинами бутылок. К вечеру волонтёры пьяны, ходят по улицам и густым басом кричат: «зито полемос!»*. Афиняне в восторге от этих волонтёров с бычачьими английскими шеями и прекрасным боксом. <…>

Борей»

«<…> …Порт Афин – Пирей… …Несколько сильных батарей защищают вход в Пирей. Отсюда идёт главная железнодорожная ветвь Греции: Пирей, Афины, Коринф, Навилион, Триполи, Патрас, Олимпия... Железных дорог в Греции мало. Во всей Фессалии только одна линия, соединяющая порт Воло с Лариссой. Военный греческий флот стоит не в Пире, а в великолепной бухте острова Саламина…. …Здесь находится морской арсенал. … Греческий флот очень невелик. Он состоит всего из 50 судов. Броненосцев три: «Гидра», «Спецца» и «Псара» построены во Франции. Военные суда второго класса: «Георгий» и «Адмирал Миаули». Суда третьего класса: «Актион», «Амврекион», «Альфиос», «Пиниос», «Королева Ольга», «Евротас» и «Ахиллес».

Самая сильная часть греческого флота – миноноски. Их насчитывается 24. Кроме того, имеется ещё одно

* – «Зито полемос!» – «Да здравствует война!»

...ания.

На этомъ мы разстались

Исполненіе всего.

Гейне (Гюстъ)

1898 г.

33 г.

Là, ou est mon soleil! — клинокъ съ девизомъ.

Типъ: п-т-ж. (портреты) Османъ ф

Сочиненія.

+ I Могила Азиса — т.

– II Крымск. стихотворенія — п.

+ III На Востокѣ — ж.
томикъ разсказовъ или листич. 200

– IV. Свароговъ, романъ — т-п-ж.
(V — статьи и фельетоны) (пьеса)

Ялта NN средства.

Р. Э. Пьеса, философія личности и природы. Жизнерадостность. Смѣхъ хроническаго сына. Гейне, Гоккочіо, ючч. Оскаро Уайльдъ. а Лермонтовъ. Гейне, Гоккочіо, ючч. Оскаро Уайльдъ. Книжки разсказовъ Мартъ Твенъ. Наметки и статьи.

З-и-л-о
т-и
сигна

NB=

Гейне — сатирическія, бурлеск.
Тоже — фельетоны, на мысль.
Бокачіо, Мартъ Твенъ — разсказы

Русская помѣстная
Былинъ и богатыря
— Сосновъ.

...ФИЛОЛОГИЧ...

судно «Эллада», на котором помещается школа морских офицеров. Над греческим флотом начальствуют принц Георгий и адмиралы Сактурис и Криэзис.

<…> …В мирное время Греция имеет армию в 26.000 солдат, состоящую из 10 батальонов эвзонийской пехоты, очень живописных воинов в фесках и фустанеллах, из 3 батальонов артиллерии, 3 батальонов кавалерии, 7 батальонов жандармов и 1 батальона инженерных войск, сапёров. Имеется ещё 10 батальонов пехоты разных полков. …Греческие войска обучены по французскому образцу, и во время войны они могут быть доведены, благодаря всеобщей воинской повинности и призыву резервистов, до 200.000 солдат. Теперь под ружьём поставлено 65.000 регулярных солдат, и масса волонтёров. Армией начальствуют: принц Константин, генералы: Мавромихали, Макрис и полковник Вассос.

<…>

У кавалерии очень плохие лошади; военная музыка состоит главным образом из кларнетов. Армия кажется полками оловянных солдатиков, очень пёстрых и маленьких, но, быть может, у греческих войск геройский дух, дух Леонида и Фемистокла, – не знаю. Во время войны за освобождение Греции греческие солдаты сумели отстоять своё отечество, и теперь, кажется, у них много энтузиазма с примесью чисто греческого хвастовства. Турок они собираются взять на «ура». Если будет война, мы увидим, что сильнее: сознательный ли патриотизм греков или восточ-

ный фанатизм турок, поднявших знамя «газавата» – священной войны.

Борей».

«<…> …Война началась, и мы вступили в период неизвестности. … Арестуются все телеграммы. Корреспонденты греческих и иностранных газет находятся в положении военнопленных. Их депеши перехватываются в Афинах.

Кое-что я всё же могу сообщить вам о начале военных действий в Фессалии. Дело произошло следующим образом. Греческое патриотическое Общество*, послало на границу Фессалии батальон инсургентов, организованный на общественные средства. Он состоит из 2.600 волонтёров под начальством полковника Копсопопулоса Комигонаса. В этом батальоне, находятся 15 греческих священников, 2 доктора и несколько фармацевтов, отличающихся воинственным духом. Армия гетеристов одета в эвзонийские юбочки, очень напоминающие балетные юбочки танцовщиц, и в голубые шапки с инициалами «Этнике-Гетерия». К этому добровольному войску примкнуло ещё 115 итальянских волонтёров под командой капитана Киприани.

28-го Марта в городке Калампаке батальон гетеристов отслужил торжественный молебен и в полночь, разделившись на четыре колонны, перешёл, без ведома греческого правительства, границу Фессалии и Македонии близ местечек Тафос-Биньбаши, Перлианца, Орфана и Дендро-Джиорджи.

Три колонны успели проникнуть в лесистые горы Македонии, но последняя колонна была замечена турецкими аванпостами, которые тотчас открыли огонь, …на который принуждены были отвечать греческие батареи. Сражение началось в 5 часов утра и продолжалось весь вчерашний день. Результаты его пока неизвестны, так как все телеграммы перехватываются в Афинах.

<…>

…При первом известии об этом сражении в Афинах был поспешно собран совет министров, и г. Дельянис телеграфировал остановить сражение, как будто это можно сделать по приказанию, словно на параде или маневрах: полковник скомандовал, музыка замолчала, и солдаты стали во фронт. Разумеется, г. Дельяниса никто не послушал, и ход событий совершается своим порядком. Турок атаковали, и армия Эдхем-паши должна будет перейти в наступление. Войну можно считать начавшейся. Мне кажется, что вернее всего считать приказание г. Дельяниса «остановить войну» простою дипломатическою уловкою. Греческое правительство теперь может сказать, что «сделало всё от него зависящее», и Европа не будет в состоянии обвинить Грецию в начале военных действий. Всё произошло нечаянно, без ведома министров и греческой дипломатии. Греция войны не начинала. Война вспыхнула, так сказать, в силу законов физики: две враждебных армии находились слишком близко друг от друга, подобно двум тучам, насыщенным электричеством. Отсюда

вспышка молнии, гром, баталия и канонада. Европа не успела поставить громоотвод и должна считаться не с дипломатией афинского правительства.

<…> …За одним сражением «по нечаянности» произойдёт другое….<…> …В Афинах теперь будет известно только о победах греческого оружия, о том, что в таком-то сражении убито 20 турок и 1 грек, известная статистика войны. Сам великий Наполеон грешил ею и сообщал в Париж о победах, когда его били в России. Только будучи очевидцем событий, можно во время войны составить о них правильное понятие.

<…>

Борей».

«…Сегодня из Афин был отправлен в Фессалию последний батальон резервистов.

Афиняне провожали своих солдат на смерть или победу. Здесь феерические проводы, аплодисменты, яркие окна магазинов, а там, в далёкой Фессалии, среди лесов, гор, – стоны умирающих, трупы убитых, ночь и смерть...

Войска шли по городу, освещённые синим бенгальским огнём, и, блеснув штыками, пропадали в темноте улиц отряд за отрядом. Толпа аплодировала, изредка раздавались выстрелы револьверов.

Право, в войне нет ничего привлекательного. Она красива, пока солдаты маршируют по городу, да в исторических описаниях славных побед Александров Македонских, Наполеонов и Тамерланов. Если

в войне есть что-нибудь хорошее, так это общий подъём духа, отрешение от будничных интересов, патриотизм народа и геройские подвиги отдельных лиц. Но и это не искупает жестокости убийства. Европа сделает великое дело цивилизации, если успеет остановить Грецию. Худой мир лучше доброй войны. Уж по одним медицинским приготовлениям, лазаретам и госпиталям, которые теперь спешно устраиваются, можно судить, что будет. Греческие дамы принимают в том деятельное участие. Моя знакомая, m-me Ралли, богатая коммерсантка, живущая обыкновенно в Лондоне, нарочно приехала в Афины и выхлопотала себе назначение начальницы госпиталя в Лариссе. Дамы афинского бомонда скоро начнут приготовлять бинты, а наиболее героические из них собираются поступить в сёстры милосердия.

<…>

…Греки, подобно бубнам, славны за горами. Я не отрицаю энтузиазма греков. Толпа всегда приходит в энтузиазм, когда начинается драка. Что же касается руководителей греческой политики, то, если хорошенько присмотреться, у них совсем не в энтузиазме дело. Они прекрасно понимают выгоды присоединения Крита к Греции и постоянно жалуются, что Греция слишком много денег затратила на Крит. Отказаться от Крита – значит потерять затраченный капитал. Можно ли примириться с такой неудачной финансовой операцией? Греки всегда были опытными коммерсантами, их министры – дельцы и банкиры.

Говоря о «гибнущих братьях-критянах», о «борьбе цивилизации с «турецким варваризмом», о «гуманных чувствах Европы», они, в конце концов, начинают перечислять затраченные на Крит суммы. Тут не «братья» гибнут, а миллионы. Некоторые афинские банки могут лопнуть, если их операция с Критом окажется неудачной.

Борей».

«<…>

…Война продолжается, но в официальных кружках и среди дипломатии Афин о ней ничего не известно или, вернее, существование войны отрицается, несмотря на то, что в происшедших уже сражениях участвовали регулярные солдаты Греции. Но здесь войну сваливают на одних инсургентов, и очень возможно, что вся война произойдёт без официального о ней уведомления представителей европейских держав. Греческие дипломаты… …уверены, что Греция может делать всё, что ей угодно, рассчитывая на снисходительность Европы к маленькому государству. Но если дать Греции Крит или Македонию, Сербия, Болгария и все маленькие государства Балканского полуострова расхватают Оттоманскую Порту по клочкам и потребуют, подобно Греции, своей доли территориальных уступок. Одни желают Восточную Румелию, другие – часть Македонии... Албания стремится к освобождению... Кому тогда достанется Константинополь? Восточный вопрос обострился теперь до последней степени.

В Афинах всё то же самое: прибывают волонтёры, на дебаркадере железной дороги толпятся солдаты, отправляемые в Фессалию. Ожидают прибытия американского парохода с 4.000 греческих волонтёров из Нью-Йорка. …Кстати о греческих ружьях. Греческая армия вооружена ружьями системы Гра, переделанными, ради экономии, из старых французских Шаспо. Какими они окажутся на войне – ещё не известно. Я пробовал стрелять, – две осечки на три выстрела. О, если бы все ружья были таковыми – война была бы менее братоубийственной…

В Греции не имеется собственной фабрики оружия, и ружья выписываются из-за границы. Они продаются теперь всего по 5, по 7 рублей за штуку, так как по случаю военного времени не обложены ввозной пошлиной. Почти все лавки, все базары в Афинах обратились в военный арсенал. Ружья продаются даже в мелочных и бакалейных лавочках. Вместо свечей спрашивают патронов и вместо керосина – порох.

Греки целые дни проводят в тире, пристреливая купленные ружья. Скоро дамы вооружатся легкими кавалерийскими винтовками и составят эскадрон амазонок.

Право, что за охота воевать в такой чудной стране? <…> Греция могла бы быть превосходным курортом, вроде Ниццы. Для неё совершенно достаточно границ княжества Монако. Афинскому Акрополю можно было бы даровать автономию под управлением профессора археологии с армией из двух университетских швейцаров. Но, увы, греки не довольствуются своим музеем и классическими воспоминаниями.

Не будь этого воинственного национализма, они были бы премилым народом. Афинянин утром торгует на 2 рубля в своём магазине, а вечером переходит из одного кафе в другое, платит в каждом по 3 копейки за чашку кофе, 2 копейки пурбуара, 1 копейку за номер газеты – и совершенно счастлив. Он может играть до поздней ночи в домино и разговаривать о политике. Чего ещё больше? Но греки хотят новых битв при Саламине и Марафоне, новых Фермопил в Македонских горах. Это развивает в них неприятное хвастовство и самый отчаянный шовинизм. Хвалите грека, его обычаи, его страну, восхищайтесь его будущей доблестью на поле брани, и он мгновенно превратится в самого лучшего вашего друга.

<…>

…До сих пор мне не удаётся узнать более или менее точного числа греческой армии на границе. Если послушать греков, то в Фессалии их до 200.000. Турок всегда оказывается вчетверо меньше. Во всяком случае, сведения русских газет, определяющих армию Эдхем-паши в 80.000 человек, а греческую в 45.000 – не верны. Греков в Фессалии теперь не менее 65.000 – это minimum. Численность обеих армий почти ежедневно меняется, так как прибывают всё новые подкрепления из Афин и Константинополя. На днях из Афин в Фессалию отправляется иностранный легион. Рядом со мною в номере отеля живёт английский полковник, очень богатый человек, привезший с собою в Афины 200 англичан волонтёров, вооружённых на его личные средства.

«Коварный Альбион», стреляя в инсургентов на Крите, посылает собственных инсургентов в Фессалию.

Борей»

…12 апреля 1897 года в кабинет директора Ларисской полиции ворвался армянин, с порога заявивший, что он, как гражданин и патриот Греции, доносит чурбарджи* о появлении в городе двух турецких шпионов – полковника русской армии и его слуги, переодетого турецкого офицера. К указанной армянином гостинице тотчас был выслан отряд жандармов. При досмотре полковник русской армии, утверждавший, что он корреспондент, предъявил рекомендательное письмо греческого военного министра Метаксаса. Прямыми уликами шпионажа греческая полиция не располагала, но к «группе полковника русской армии» была приставлена «наружка». Слухи о двух турецких агентах облетели весь город. Над ними нависла угроза самосуда. Опасаясь такого исхода, полиция вернула «резидентуре» документы и предложила немедля, первым же пароходом, идущим в Афины, покинуть Лариссу.

…История о поимке в Лариссе двух шпионов потрясает столицу Греции. Все газеты пишут о них, газета «Скриб» печатает их портреты. Патриотически настроенные горожане буквально сходят с ума, бродят по улицам с их портретами, каждый афинянин мечтает напасть на след «улизнувших» из Лариссы шпионов, и когда кто-то замечает их за столи-

* – Чурбарджи – господин

ком одного из столичных кафе, толпа осаждает заведении, выбивает в нём все окна, хаведжа*, опасаясь за свою жизнь, скрывается. Подоспевшие жандармы оттесняют толпу, под усиленной охраной препровождают агентов в гостиницу, учиняют обыск с «пристрастием», затем усаживают в карету и везут к префекту полиции Байрастарису.

На допросе полковник русской армии продолжает утверждать, что никакой он не полковник и, тем более, не турецкий шпион, а корреспондент русской газеты, и что сопровождающий его слуга – никакой не переодетый турецкий офицер, а действительно его слуга татарин Мамут…

«<…>

…Кстати сказать, русские офицеры, будто бы служащие в турецкой армии, производят здесь большую тревогу. Говорят, будто русские офицеры устроили туркам минные заграждения в Салониках. Русские офицеры грезятся грекам даже в мирных корреспондентах, странствующих и путешествующих среди бурь политических и военных событий. Но пока русские офицеры – только миф, а вот присутствие англичан и прекрасных англичанок в греческой армии вполне достоверно. Англичане здесь всюду. Они, в качестве корреспондентов, раздают, кому следует, английские фунты стерлингов, а прекрасные англичанки в костюмах сестёр милосердия, весьма кокетливых, действуют иногда более действительным, чем день-

* – Хаведжа – кофейнщик

ги, кокетством. Красота также подкупает, как золото. Англичане, в случай войны, собирающиеся запереть для русского флота Дарданеллы и Гибралтар и истребить наши суда в водах Средиземного моря, где у нас нет портов, рассылают по всей Греции своих агентов в юбках и смокингах ради усиления английского престижа. «Английское обаяние» в лице прекрасных сестёр милосердия – несомненно, и греческие офицеры не могут ему не подчиниться. <…> …Англичане находят, что на войне все средства позволительны – даже самое непозволительное кокетство. «Мисс» и «миссис» умеют служить Британии и жертвовать всем для отечества. Они делают глазки самым непрезентабельным офицерам греческой армии.

Борей»

…19 апреля турецкая армия захватила перевал Мелина Расс, путь на Лариссу был открыт. 23 апреля командующий греческой армией принц Константин отдал приказ на отступление. Это вызвало в греческих войсках сильную панику и …усугубило и без того сложное положение «разведгруппы полковника русской армии», сидевшей в номере афинского «Grand Hotel» под охраной полиции и взвода солдат: перед обвиняемыми в шпионаже замаячил скорый военно-полевой суд.

…Расстрельного приговора не случилось: телеграмма французского посланника, вмешательства русского консула Ону и греческого министра иностранных дел Мавромихали, содействие греческого

министра иностранных дел Скюжеса, заступничество военного министра Метаксаса и последовавшие за этим опровержения в газетах «Акрополис» и «Скриб» подоспели вовремя, – но охранной грамотой быть не могли. Глубокой ночью, в крытой карете, укутанные в ферадже*, под усиленной охранной, «реабилитированные» выехали в Пирей, откуда первым же пароходом отбыли в Константинополь…

…27 апреля командующий турецкой армией Эдем-паша въехал в Лариссу.

Боевые действия перенеслись в Эпир, где 15-ти тысячам греческих солдат и офицеров под командованием полковника Маноса противостояли 28 тысяч турок, предвидимыми Ахмедом Хифси-пашой.

Тем временем греческий король Георг забрасывал русского царя Николая II телеграммами с криками о помощи. В телеграммах рисовались самые ужасные последствия для Европы в случае продолжения войны.

**Турция. Стамбул**

«…С пленными, в противоположность грекам, турки обращаются превосходно. Вчера в Константинополь прибыл первый транспорт с больными и ранеными солдатами. Что касается константинопольских греков, – они пока держат себя смирно. Пасха прошла безо всяких инцидентов. Грекам в Константинополе предложено: или принять турецкое подданство, или покинуть город в течение недели. К оста-

* – Ферадже – широкая верхняя накидка

ющимся в городе грекам турки не проявляют ни малейшего недоброжелательства. Им оказывают всевозможные льготы.

Многие греческие купцы горько жалуются на разорение, которое причинили им их соотечественники в Афинах своим бестолковым шовинизмом. Критские и константинопольские греки не проявляют никакого сочувствия к воинственным афинянам.

Борей»

**Босфор. Борт парохода «Олег»**

«Мир подписан и греко-турецкую войну можно считать законченной...

<…>

Греция начала войну наперекор воле всей Европы.

<…>

Побеждённая Греция, потери которой, благодаря нашей дипломатии, сведены до минимума, может теперь убедиться в великодушии России.

<…> Греция очутилась в самых выгодных условиях. Она проиграла битву, не потеряв клочка земли. Ничтожные изменения границы в стратегических целях очень несущественны. Греция, в качестве финансового банкрота, платит контрибуцию по пятачку за рубль. Это всё равно, что игрок, проигравшийся на зелёном поле в экарте, заплатил бы вместо своего проигрыша лишь десятую долю. «Он плохо играет – с него надо недополучить». Всеми этими незаслуженными выгодами Греция обязана России. Политика России, стремящаяся к миру и благу народов, выше личных

счётов. <…> Собственно говоря, греки не могли заслужить ничьих симпатий. Войну они начали, несмотря на все предупреждения Европы, они могли осложнить восточный вопрос и вызвать общую смуту единственно ради своего национального эгоизма. <…>

<…> …Условия мира столь выгодны, что мы можем ожидать возрождения Греции. Из боевого огня она восстанет, подобно фениксу, и, пожалуй, ещё наделает хлопот Европе.<…>

Борей».

«<…> …русским, не следует обольщаться надеждой, что вмешательство России в переговоры о мире, принесшее столько выгод грекам, будет оценено в Афинах. Ни благодарности, ни симпатии со стороны греков <…> ждать нечего. Теперь, когда подписан выгодный для Греции мир, <…> в Афинах <…> рисуют всё те же карикатуры на северного медведя, дрессируемого Англией, и прохаживаются насчёт русской культуры. <…> Ненависть к русским настолько сильна до сих пор, что, как мне пишут из Афин, русские матросы с наших военных судов принуждены разгуливать в Пирее под ружьём, и лодки, высаживающие матросов на берег, снабжены пушкой. Было несколько весьма прискорбных случаев нападения на русских моряков.

<…> Исключительно заступничеству России, стоявшей во главе европейского соглашения, обязана Греция тем, что она вся не обратилась в развалины, подобные Акрополису, на котором не раз пировали турецкие паши. <…>

Борей».

**P.S.**

…20 сентября после подписания прелиминарного* мирного договора между Грецией и Турцией, открылось, что армянин, заявивший греческой полиции о шпионской группе русского полковника, работающей на турков, выполнял задание греческой контрразведки. Армянин должен был предложить себя «резиденту» в качестве толмача или дангалаки**, затем в нужное время нейтрализовать группу. Всё шло словно после большого бакшиша, армянин, как переводчик – и в штабах, и в войсках, и в редакциях газет, и на приёмах – был незаменим. Но… Но однажды он не выдержал, и это стоило ему провала задания. Невероятно, но осведомитель «погорел» на элементарнейшим клефте,*** – обворовал того, кого «разрабатывал». Схваченный с поличным, агент-клефт вынужден был скрываться от русского резидента. Что вовсе не мешало ему распускать слухи о деятельности шпионской группы русского полковника.

Косвенно, но армянин достиг цели – группа чудом избежала расстрела, но была нейтрализована и спешно покинула Грецию.

* – Прелиминарный договор – Формальное соглашение между воюющими странами о прекращении военных действий и заключении полномасштабного мирного договора, если в соглашении оговаривались предполагаемые территориальные изменения и новые границы, судьба военнопленных и интернированного мирного населения, возмещение военных расходов, намечались принципы наказания военных преступников.

** – Дангалаки – носильщик тяжестей.

*** – Клефт (греч.) – вор.

## Вторая половина первого десятилетия 2000-х

Это был период решающих решений и решительных поступков, это был период открытий и приобретений – это был прекрасный период.

…Июньский день, попорскав дождиком, распластал над городом проволглую полость неба, в голубоватых прозорах которого плыл-плясал-покачивался кокошник солнца.

Ветер задирал зелёные платья деревьям, и они, застигнутые врасплох, всполошёно всплескивая ветвями, сорили перламутровыми колье колких капель; ветер шершавыми ладошами похлёстывал по скуластым, припудренным свинцово-серебряной пудрой, щекам Невы, которая с непреоборимой страстью несла своё нестареющее тело в ненасытные объятия Финского залива.

Нева несла себя Финскому заливу, я в этот июньский день нёс себя Пушкинскому Дому.

Однажды я уже захаживал в него. Это было, – дай Бог памяти, – во второй половине 1990-х годов. Да, аккурат 10 лет назад я беседовал с академиком Лихачёвым: пенял, – призывая в соавторы Чехова, – на продажную, лицемерную, истеричную, фальшивую, ленивую, невоспитанную, нелюбящую свою Родину и свой народ, интеллигенцию; жаловался, – на примере милого моему сердцу Токсова, – что Россия распродаётся, разворовывается, насилуется политическими бесами и курвами; не соглашался с академиком, что он застал все роковые годы своей От-

чизны, и в пику ему твердил, что роковых годов у нашего Отечества ещё не на одно поколение хватит…

…Тогда итог того моего визита был нулевым. Потому что он был лишь в моих мечтах, в моём воображении, в моём хотении.

Нынче я был решителен, как штормовая волна. Нынче я шёл в Пушкинский Дом с целью. И мне было, *что* предъявить.

И вот она – таинственная дверь. Массивная – как челюсть динозавра. Толкаю – не тут-то было. Тяну на себя… Впустила… Тамбур… Вторая дверь… Пала и она.

С важностью важной персоны важно миную вахтёра.

– Вы куда?! – бьёт в спину окрик.

– Мне назначено. Я – к заместителю директора.

– По лестнице, второй этаж, налево, второй кабинет, – напутствует страж.

Следую по указанному адресу. Вычисляю кабинет. Стучусь. Вхожу. Здороваюсь. Называюсь. Поздоровался и назвал себя и хозяин кабинета. «Начало не плохое, это обнадёживает» – проносится у меня в голове.

…Угнездившись на указанном стуле, излагаю причину прихода. Дескать, владею уникальным документом, дескать, это дневник вычеркнутого из русской литературы русского писателя и поэта, дескать, располагает ли Пушкинский Дом какими-либо материалами о Владимире Шуфе и, дескать, ежели располагает, то можно ли рассчитывать,.. и так далее, и тому подобное, и в подобном духе.

– Всё, что вы сейчас рассказали, невероятно интересно, – выждав, когда я остановлюсь перевести дух, – обнадёжил сотрудник института русской литературы, – но я не тот, за кого вы меня принимаете. Я по общим вопросам. Сейчас я познакомлю вас с Котельниковым Владимиром Алексеевичем, он по научной работе. Владимир Алексеевич как раз тот человек, который...

«Надо же какие замечательные люди в Пушкинском Доме работают, – подумал я с благодарностью и с ещё большей благодарностью глянул на Валерия Ивановича, – выслушал, ни разу не перебил, вызвался помочь, принял участие, – хотя вовсе и не его это дело. Вот оно, каждодневное влияние великой русской литературы!»

В кабинете замдиректора по научной работе, доктора филологических наук Котельникова Владимира Алексеевича я повторил всё ранее мною сказанное в кабинете замдиректора по общим вопросам Болокана Валерия Ивановича и для большего эффекта продемонстрировал несколько страничек дневника Шуфа.

Понимая, куда я иду, и, зная, в каком мы обществе живём, я не рискнул брать с собой подлинник, опасаясь, что в Пушкинском Доме его у меня могут изъять, инкриминировав мне попытку вынести уникальный документ; поэтому я сделал выборочную ксерокопию дневника.

– …Уникальность этой записной книжечки ещё и в том.., – торжествуя, глянул я на Котельникова, – что Шуф фактически признаётся в ней о наличии у него второй семьи, и эти обе семьи, проживающие одна в

Санкт-Петербурге, вторая в Ялте, не знают о существовании друг друга, как не знают о существовании второй семьи и ещё двоих детей самые близкие друзья писателя. Не знают, за исключением одного, по имени Осман… И не знаете вы, Пушкинский Дом…

– Так что же вы предлагаете? – прерывает мою торжествующую наглость Владимир Алексеевич, – Мы можем у вас купить этот дневник. Пригласим оценочную комиссию, она определит стоимость…

– Нет! – наполняясь уважением к самому себе, отрезал я. – Такие вещи не продаются, такие вещи дарятся…

– Что же, спасибо. Мы с благодарностью примем ваш подарок, запротоколируем, оформим актом, выдадим вам свидетельство…

– Я подарю, – наслаждаясь собственной персоной, заверил я. – Но после того, когда напишу, как этот дневник попал ко мне, как и сколько лет я его расшифровывал, как устанавливал имя его автора.

– А вы сможете? У вас какое образование?

– Самое надёжное – десять классов советской средней школы, плюс два с лишним десятка лет службы в Советской Армии, роман, две книжки рассказов и парочка прочих изданий, корреспонденции и статьи в различных газетах – с достоинством характеризую я себя, следя за реакцией собеседника.

– А я думаю, что помощь нашего научного сотрудника вам не помешает. Во всяком случае, если что – обращайтесь, – не удивился моему «послужному списку» Владимир Алексеевич, но, протягивая свою

визитную карточку, не преминул обронить, – мы и издать поможем.

– Спасибо на добром слове. Непременно обращусь, ежели что, при случае. – И памятуя о наставлении Штирлица, что запоминается последняя фраза, повторил: – так я могу при написании книги воспользоваться материалами Пушкинского Дома о Шуфе, если таковые сыщутся?

– Конечно, конечно, ради бога, в свободном доступе, в Интернете.

«…Если в Пушкинском Доме все такие, как Болокан и Котельников – институт русской литературы в надёжных руках, а русской литературе – быть!» – расчувствованный оказанным приёмом, думал я, вышагивая к метро.

Вот ведь – много ли русскому человеку надо?: приняли, выслушали, обнадёжили, пообещали, и русский человек уже счастлив!

И что из того, что счастье скоротечно?; миг, минута и – нет его! Что из того? Счастье для русского человека в надежде. Счастье явилось, ожгло и растаяло, оставив надежду. А именно надеждой жив русский человек; именно надеждой жива сама русская жизнь.

…С надеждой я вновь ступил на крымскую землю. И вновь слёзы восторга, радости и обожания увлажнили мои глаза.

Крым! До последних дней своих не устану объясняться в любви тебе!..

…На четвёртый день по приезду я отправился на Пушкинскую. Улица эта как бы продолжает знаме-

нитую ялтинскую Набережную, которая обрывается при впадении Учан Су в Ялтинский залив. Поднимаясь вдоль русла реки, Пушкинская улица по своей привлекательности, многолюдности и популярности, уступает лишь Набережной.

Где же ещё быть, как ни на такой улице, историко-краеведческому музею? Сотрудники ялтинских музеев, неизбалованные вниманием курортников, рады каждому посетителю; ну а если посетитель кажет не фальшивый интерес к экспозиции, то таков посетитель едва ли не роднее родного.

– Извините, скажите, пожалуйста, а где у вас можно посмотреть о Владимире Шуфе? – поинтересовался я у смотрительницы зала.

Сотрудница музея даже ничуть не удивилась, – будто о Шуфе её спрашивали на дню семь раз, или словно меня здесь давно ждали:

– Вы знаете, о Шуфе у нас очень скудные сведения. Даже не знаем, чем Вам помочь. Есть его рукописный сборник. Но мы храним его под такими замками…

– Ну, может быть, Вы слышали о людях, которым что-то известно о Шуфе, ведь он ваш, ялтинец. Мне важна любая, даже самая крохотная, деталь о нём.

Старушка задумалась на несколько секунд и, просияв лицом, тронула мой локоть:

– Мы, кажется, сможем Вам помочь. Здесь недалеко, на улице Ломоносова, живёт Галина Анатольевна Иванова, журналистка, искусствовед, работник культуры. Её брат Владимир боготворил стихи Шуфа. Он и сам был поэтом.

– Как мне с ними встретиться?

– У нас есть телефон Галины Анатольевны. Сейчас мы ей позвоним, и если она дома…

…Так поиски Шуфа свели меня с ещё одним замечательным человеком. Но если бы только э т о?! Если бы только это!… Как оказалось.., нет, в это почти невозможно поверить! Но наши жизни когда-то шли рядом, почти пересекались: Галины Анатольевны, моя, и моих близких!..

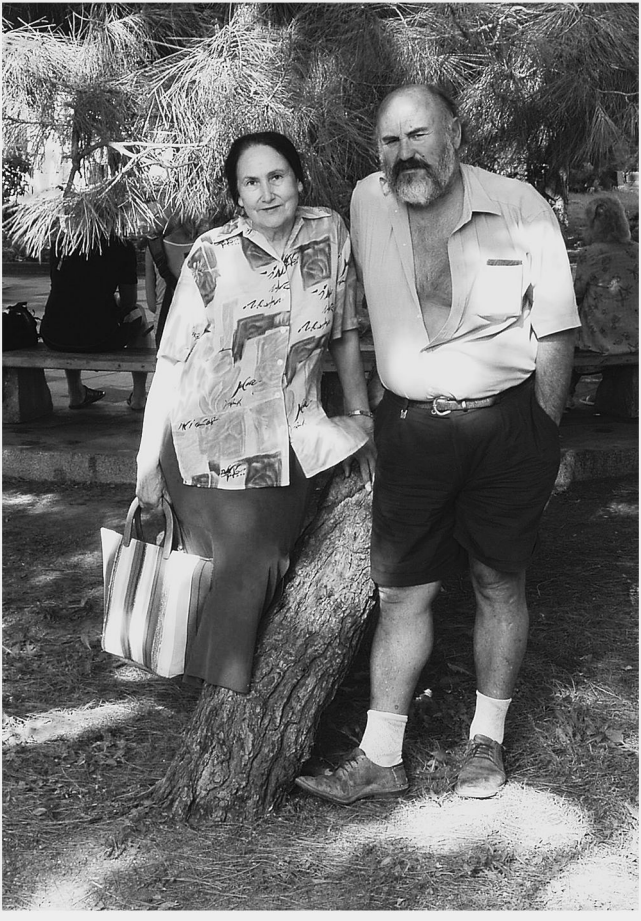
## Сестра – о брате

Галина Анатольевна пришла на встречу не одна: её сопровождал красивый, с белой окладистой бородой, словно явившийся из русской былинной сказки, богатырь лет пятидесяти.

– Знакомьтесь, Игорь Нерсесян, тоже большой поклонник Шуфа, – представила Галина Анатольевна.

Мы расположились на скамье под платаном, возле кафе «Старый платан». В двадцати метрах от нас плескалось ласковое, как материнский взгляд, море. В бледно-голубой небесной мари покачивалась раскалённая ладонь солнца. В зазорах измученной зноем листвы путался заполошный ветерок.

…*– Ну что я могу рассказать Вам о Шуфе?* – будто извиняясь, начала свой рассказ Галина Анатольевна. – *Не более того, что уже публиковалось в наших крымских изданиях. Вот брат мой Владимир мог бы. Он обожал стихи Шуфа, он зачитывался ими, у Володи были какие-то рукописи Шуфа, Воло-*



**Галина Иванова, Игорь Нерсесян**

*дя считал себя учеником Шуфа. ...О Володе как о поэте я узнала, когда приехала на его похороны. Дело в том, что я до его смерти почти двадцать лет жила в Киеве, а когда мы с братом общались – я ли приезжала к нему в Ялту, или он у меня гостил, – о стихах разговора не было. Мама как-то сказала мне: «Володя пишет» (он с ней о чём-то советовался). Я этому не удивилась и не придала значения, так как всегда знала, что он всесторонне талантлив. Тогда меня заботило другое – я была очень удручена состоянием его здоровья.*

*...Архив брата я забрала с собой в Киев, и всё время занималась разбором его рукописей, вчитывалась в его стихи. Тогда я впервые и встретила это имя – Шуф. Я как бы заново открывала своего брата. Утрата стала ещё тяжелей.*

*Моими близкими друзьями в Киеве были люди творческих профессий: журналисты, художники, кинокритики... Они свели меня с первой величиной русскоязычной поэзии в Украине – Леонидом Вышеславским, ныне покойным. Я видела, что Володины стихи произвели на «патриарха» большое впечатление. Помню, прочтя его «Маляра Антонио», он сказал: «Так мог бы писать Бунин», (а я в этом образе увидела своего брата).*

*Вышеславский сразу же порекомендовал стихи в «толстый» литературно-художественный, единственный в Украине русскоязычный журнал «Радуга». Но обстоятельства помешали мне воспользоваться этой возможностью.*

*Вскоре я переехала на постоянное жительство в родную Ялту, и сразу сблизилась с Володиными друзьями: знаменитым пловцом Игорем Нерсесяном…* – Галина Анатольевна тронула мощное плечо своего спутника, – *…знатоком не только морских глубин, но и родной земли Таврической, её истории… Володя посвящал Игорю свои стихи, и Игорь о Володе, да и о Шуфе мог бы рассказать…*

«Вот откуда такая мощь, он пловец», – с уважением окинул я взором фигуру своего нового знакомца.

– *…Своим другом называла брата и замдиректора нашего литературно-краеведческого музея Зинаида Левицкая, своим учителем – молодой поэт, «афганец» Николай Терешкин. Научный сотрудник музея Анна Гаранкина, замечательные ялтинские художники Нелли Зебек, Валерий Мухин и могильщик – он же незаурядный шахматист и философ – Толя Шанаев: все, близко знавшие Володю вошли в круг моего общения… От них я узнала о неизвестной мне стороне жизни брата, его поступках, увлечениях и, в частности, о том, что он был дружен с дочерью Владимира Шуфа Натальей, которая жила и умерла в Ялте. Володя бывал у неё в доме, она знакомила Володю с творчеством своего отца, его стихами, кое-что из того, что у неё сохранилось, она отдала Володе.*

*Но тогда имя Шуфа никому не было известно. Даже главный литературовед ялтинского литературно-краеведческого музея Зинаида Левицкая призналась, что впервые она узнала о Шуфе от моего брата, Владимира Иванова, так что его можно*

*считать «первооткрывателем» замечательного русского поэта у нас в Крыму. Это уже потом стали появляться о Шуфе публикации, вырос интерес к нему не только у нас, но и за рубежом.*

*Так уж выпало судьбой, что неизвестный современный ялтинский поэт Владимир Иванов первым здесь, на своей и Шуфа второй родине, открыл преданного забвению русского поэта.*

*Володины стихи знали его друзья, знали завсегдатаи кафе «У старого платана», где любили собираться поэты, художники. Барды пели песни на его стихи. Он читал их на радио. Помню, корреспондент радио «Ялта» Анна Гуленко сказала мне с восторгом, – ещё при жизни Владимира, – «какой интересный, какой талантливый, какой эрудированный у Вас брат, как интересно его слушать. И какие у него стихи!»…*

…«Как это по-нашенски, по-русски – или восхититься талантом, а потом отмахиваться от него, как от назойливой мухи, или завидовать и вовсе не замечать его, – подумал я с горечью. – Не оттого ли наше пренебрежение, что земля наша русская так богата талантами? Не оттого ли мы так расточительны и неблагодарны?»

Будто угадав мои мысли и точно в поддержку им, Галина Анатольевна с горечью в голосе продолжила:

*– …Школьный друг Володи Василий Гапоненко, работавший тогда в ЮНЕСКО, сделал ему к 50-летию подарок – несколько экземпляров книги его избранных стихов, отпечатанных на ротапринте в Париже. А вот в печати у нас Володиных стихов не*

*было. Володя был очень «не пробивной» в жизни… Говорили мне, что был у него один такой «друг» – очень оборотистый и шустрый, умевший входить в нужные «инстанции и круги» и, к тому же, тоже пишущий, который, воспользовавшись Володиной доверчивостью, присвоил себе авторство части его стихов, публиковал их в печати под своим именем.*

*Брат тяжело переживал такое предательство, но противостоять ему не мог по своему характеру. К тому же был уже очень болен. Он умер в возрасте 52-х лет.*

*Вот и всё, если так, навскидку, о Володе, о Шуфе. Ваша просьба так неожиданна, Ваш интерес… Возможно, Игорь дополнит меня,* – Галина Анатольевна коснулась плеча своего спутника, словно передавая ему эстафету. – *Но, прежде, если не возражаете, я прочту вам несколько стихотворений Володи.*

– Конечно, конечно, Галина Анатольевна. Я буду только рад и благодарен.

– Спасибо. Начну с дома Шуфа. Оно так и называется – «Дом Шуфа-поэта». Володя пишет про одну из встреч с дочерью Шуфа Натальей.

Дымок отечества... отрадный Ливадьон
И домик Шуфа – сладостная горечь
На углях прошлого... да было ли оно?
Бывало... «Кто там? Вы, Владимир Анатольич?
Вот, накормлю зверей... Пушинка, Тавр, Шишуга».
Кошачий, книжный мир жеманно-грациозный.
«Который час? Который век? – шепчу, я –

Двенадцать? Боже мой, как поздно...»
И, поздний гость в несдавшемся былом,
Впиваюсь взглядом в слепнущие лица,
В страстей былых поблекшие страницы,
В поблекший сад за слепнущим окном...

Читала Галина Анатольевна великолепно. Ещё бы – работник радио.

В полусотне шагов от нас, разморённое солнцем, вздыхало море. По синему топору неба, высоко занесённому над разомлевшей Ялтой, скользили, дразня и не обещая спасения, кружевные парашютики облачков. Мы сидели под невесть когда последний раз стиранной дождём тёмно-зелёной, с рыжевато-коричневым крапом, косынкой платана и наслаждались поэзией:

Клонятся театрально над водой
Айлант, миндаль и виноград лозой,
В лучах тела купальщиц разомлели.
Скелет причала, как на старой акварели
Японской, отражён в голубизне,
А на откосе над заливом в тишине
Краснеют сливы, алыча желтеет.
Ем алычу, к соблазнам глух и нем…
Словесный бисер – алычу – в залив метну
И сам в него метнусь ставридой,
Не расставаясь ни на миг с Тавридой,
Таврического ливня в нём дождусь,
Вдыхая дух морской гниющей флоры,
Не обращая жадно сердца взоры

Ни в суть предметов, ни в былые сны…
Аквамарин прозрачной тишины
Чуть схлынет, как соблазны лета –
Заката приближенье это…
Гортанный чаек крик… Июля дети –
Купальщицы, купальщики лежат
Легко и театрально, и лениво. Закат.

– Ну что, не утомила я вас? – улыбнулась Галина Анатольевна.

Я давно заметил, что люди, когда они читают стихи, как бы загораются изнутри, становятся выше, их лица светлеют, будто излучаются каким-то завораживающим тебя сиянием. Я говорю о стихах, принадлежащих миру Поэзии. Иное же – просто стихи, стишата, стихоплётство…

– Что вы, Галина Анатольевна! Я готов слушать ещё и ещё. Если Игорь не возражает. Поэзия – это ведь как женщина, она не может надоесть.

– Да я с удовольствием Володины стихи послушаю, – пробасил Игорь.

– Тогда, раз у нас разговор о Шуфе, и коль нас познакомил Шуф, я прочту стихи, в которых Володя вспоминает своего учителя:

Чёрной глади полуночный шёлк!
Тихо, как в межпланетном вокзале,
Чтоб подслушать, что волны шептали,
Словно крадучись, к самому краю –
К раю чёрному я подошёл…
Одинокой звезды тусклый блеск

Усыпляющей тьмы слабый всплеск –
К сердцу тихий русалочий всхлип
Поцелуем холодным прилип,
К сердцу тихой печалью приник….
И с Ай-Петринской горной стены
Робко, будто с сознаньем вины,
Как Борея весеннего сплин
Прошумело, печаль мою сдув,
Имя – словно астральное – Шуф.
Возвращаясь. Гадаю один
Если Шуф, то – отец или сын?
*
Вот солнца диск дельфином золотым
Скользнул под синюю «волну» Ай-Петри,
Над Поликуром млечно-синий дым
Окутал море, город, небо, ветры...
Слышней прибоя приглушённый шум,
Торжественнее роща кипарисов:
Учителя могила здесь – поэта Шуф –
В краю легенд, массандровском, гористом,
В корнях дерев, как книги в переплётах,
Останки пожелтевшие костей...
Пусть не прочтёт над ними на кресте
Строку сонета равнодушный кто-то –
Тире между «родился» и «почил».
Во мне – поэта дом, его ключи,
Старинные и лары, и пенаты –
Всё, чем неслись года его крылаты,–
Его перо, тепло его руки
Несу в себе... И вечный сон поэта

Читаю, как строку его сонета:
«Ни слёз, ни дум, ни ропота тоски».
Сонетами – дельфиньей резвой стаей –
Он утверждал поэзии восход
В грядущем. Дымка синяя растает, –
Он знал – поэзии весна придёт.
Лампадой древней Поликур отмечен
Серебряной, волшебной, – говорят
Легенды Крыма... Логос жизни вечен,
А в вечности лампады звёзд горят.

На огненно-золотистый бутон солнца опустился кружевной парашютик облачка и по янтарно-малахитовой спине моря пробежали мурашки.

…– Ну вот, Игорёк, – улыбнулась Галина Анатольевна, – расскажи, как тебя к Шуфу мой брат приохотил.

…Есть такие люди, которые наделены редчайшей способностью: улыбкой, жестом, словом или одним уже видом своим располагать к себе. Такими были мои новые знакомцы. Но в Игоре Нерсесяне было ещё что-то такое, что свойственно только сильным душой и телом людям. И это *что-то такое,* исходящее от таких людей, каким-то образом передавалось обычному человеку, вселяя в него некую уверенность, веру в себя, в окружающий его мир. …Я люблю больших и сильных людей. Любуясь Игорем Нерсесяном, этим русско-армянским, армянско-русским богатырём, мне вдруг открылась вся глубина любви Салтыкова-Щедрина к большому человеку.

Издатель газеты «Новое время» Алексей Суворин в своих воспоминаниях свидетельствует такой, – кажущимся на первый взгляд забавным, – эпизод.

– «Салтыков приехал из-за границы. Я поехал к нему узнать впечатление. Говорит: «Народу нет!» – «Как народу нет?!» – «Какие же это люди – мелюзга! Нет большого крупного человека. Народ пошёл мелкий. Против нас, куда же это?» И признался, что при всей нелюбви к жандармам, он, как доехал до границы, – подошёл к громадному жандарму на русской границе-станции и подарил ему три рубля. Ничего не объясняя. – «Потому что он большой!»

**Игорь Нерсесян – о друге**

*– На Шуфа я «запал», можно сказать, через Володю. Так получилось, что школа, семья, товарищи, как говорят, на меня поэзией никогда не влияли. Наоборот, я был более дикий, больше к природе.., спорту, улице принадлежал. Море, природа были ближе, скорее не из-за моей дикости, а из-за системы и методов образования. Другое дело – проза, фантастика, приключения и прочее, – этого я перечитал, как только научился читать, предостаточно. С Володей ранее я контачил в основном по самиздату, можно было через него что-то достать, прикупить по йоге, диетике, мистике какой-то.*

*В 1970-е годы и позже – «железный» занавес: инакомыслие, даже культуризм, которым я увлекался с детства – под запретом… Так вот, ...что-то по-*

*шла перестройка какая-то непонятная в чём-то и в Крыму. То слух прошёл, что Голубой залив хотят англичанам продать, то ещё что-то.*

*Я смотрю и слышу, что у меня на глазах вдруг Володя сочиняет и декламирует вслух про эту проблему, и мне нравится слушать, видеть его эмоции, когда он это творит. Он мне как бы «продул» уши. Есть в водолазном слэнге такое выражение. Я стал слышать стихи, но это только когда слушаю, глазами, по-прежнему, – не так. Я всё-таки музыкант. Ведь у меня часть кровей карабахских армян, а там все, как неаполитанцы, – не поющих не бывает. По крайней мере, до событий военных, перестроечных. Я Володю стал видеть, как гражданина. То мы были просто пацаны-человеки или партнёры по интересам, а тут – больше. И пошло. Так совпало, что обо мне начали много писать СМИ по поводу моих заплывов в Ялте, это я официально плавал для протоколов, чтобы с ними можно было рвануть в Москву и там «ответить» за державу, не посрамить своих атлетов холодной воды. Во всем была виновата американка Линн Кокс, переплывшая советско-американскую границу в августе 1987 года. Со временем выяснилось, что это был пиар горбачёвых и шеварнадзей, чтобы отдать Берингов пролив американцам. Почитайте «Линия Шеварнадзе», «Акватория Шеварнадзе», если не сталкивались ещё с этой темой. И вот Володя был рядом со мной – я в воде, а он на берегу. Он не был мореплавателем или атлетом, но то, как он переживал, понимал и творил далее – для*

*меня это титан. Он при мне неоднократно в течение дня мог написать одно, а то и более стихотворений, в том числе, посвящённые мне. И, самое главное, он мне часто рассказывал про Шуфа, декламировал иногда какие-то его строки. И восхищался им, и сострадал, что, мол, того несправедливо в Ялте забыли, а, мол, Чехова везде одного суют. С этим я тоже был согласен, так как по-ребячьи я тоже «накушался» чеховщины». Посёлок, где я жил – имени Чехова, клуб рядом – имени Чехова, санаторий выше, – тоже его имени и т.д., и т.д. Володя рассказывал, как дружил с дочерью Шуфа, которая была уже тогда старушка. Как он спал на кровати своего кумира, когда он, подружившись с Наталией Владимировной, иногда оставался у неё ночевать.*

*Мне хотелось бы быть полезным вам по Владимиру Шуфу и по Владимиру Иванову. И вы Владимир. Три тёзки! Три Вэ! Три Володи! Мистика!*

Жгучее чувство стыда охватило меня. Стыда за свою лень. Ведь, расшифруй я дневник Шуфа в 1980-х годах, когда он попал мне в руки и когда был жив Владимир Иванов…

30 лет! 30 лет мне понадобилась на то, что в 2010 году я осилил всего за полтора месяца! 30лет! Какое расточительство! Какое преступное расточительство! Стыдно! Чеховским героям ж и з н ь не давала осуществить свои стремления. Чеховским героям ж и з н ь не давала применять их внутренние силы. А мне?.. А мне – лень! Только лень! Всё та же лень.

Не будь в русском человеке лени, он был бы исполином, – кажется так говорил Николай Гоголь.

Увы мне! Увы, мне не быть исполином.

Но – не я первый, и не я – последний.

…Да, я порочен, я бываю ужасно ленив, но это вовсе не значит, что я не любопытен. Рассказ Галины Анатольевны, подкреплённый рассказом Игоря, взбудоражил меня. Поэт Владимир Иванов. Неизвестный поэт Владимир Иванов. Судя по услышанному о нём, – неординарная личность. И – ученик Шуфа…

Уже из Алупки я позвонил Галине Анатольевне, мы условились о встрече.

– А ведь мой брат был ещё и художником, и фотографом, и краеведом, – распаляла моё любопытство Галина Анатольевна. – Приедете, я покажу вам его работы.

**Три дня спустя**

…Остановка «Кинотеатр «Спартак». 30 лет назад здесь, на скамейке под левым платаном, меня поджидала моя Маришка, сорвавшая мне тогда свидание с Чеховым и которой, – вопреки наставлениям моего отца, что «женщине можно простить всё, кроме полуспущенного чулка», – я прощал даже полуспущенный чулок, потому что у неё была большая грудь. Сегодня, спустя три десятилетия, когда я поблек, подзавял, когда круг моих возможностей сузился, я не был так избирателен и категоричен, и любой женщине, – невзирая на такую мелочь, как

размер её груди, – готов был простить не только полуспущенный чулок, но и многое другое. Как время изменяет наши запросы!..

Остановка «Кинотеатр «Спартак». Сегодня здесь, на скамейке под левым платаном, меня поджидала сестра «ученика Шуфа». Через пять минут я сидел за столом, за которым сиживал ялтинский поэт Владимир Иванов, и пока Галина Анатольевна хлопотала со снедью, читал приготовленную для меня газету со статьёй Дмитрия Тарасенко «Ещё один неизвестный»:

*«Это был сказочник. Это был поэт-самоучка, – от Бога, от волшебного крымского леса, от ночных бурь над кипарисами, от выстуженных осенних пляжей. От восторга перед великими предшественниками.*

*В стихах Владимир Иванов ни на кого не похож. Моё удивление, мой интерес к нему возрастали с каждой нашей встречей, с каждым добрым словом друзей, с каждым высокомерным суждением «профессионалов». По восприятию искусства он делил людей на две категории, нерезко переходящих одна в другую, как в радуге плавно переходит жёлтый цвет в зелёный: одними больше руководит рассудок, другими – сердце. Он воспринимал и писал сердцем. Он был бы поэтом, даже не сочинив ни одной строки, в каждом своём слове и жесте, поэтом в самом видении мира. Он превращал в поэзию, в искусство всё, к чему прикасался: обновлял ли старинную мебель, писал ли картины, фотографировал или просто развлекал гостя беседой. Я мог слушать его бес-*

*конечно. Правда в его историях игриво переплеталась с художественным вымыслом, и я чувствовал, что неразумно и даже как-то нетактично пытаться их разделить. Он был разнообразно талантлив, как сам про себя говорил, шутливо оправдываясь – «дилетантски талантлив». Отменно разбираясь в книгах, он привозил их из Москвы или Киева, кое-как продавал. Тем и зарабатывал, не любя, даже презирая коммерцию и получая в ответ такую же нелюбовь – денег едва хватало на жизнь.*

*Застенчивый и гордый, он никого ни о чём не просил, безалаберно щедрый, как добрый волшебник, спешил раздарить и то немногое, что имел, в радости за ближнего находя залог своего богатства. Бестактности и фальши не терпел ни от кого – взрывался. Потому и был обречён прожить в разладе с властью, вынуждавшей нас, как известно, говорить одно, думать другое, а делать третье. Не однажды вламывался к нему в дом участковый, грозил судом за «тунеядство». Оправдываться было нечем: ни картины, ни слайды, ни кипы исчерканных рукописей работой не считались.*

*Увы, не умел он запросто входить в издательства, выслушивать, не моргнув, замечания, чаще всего поверхностные, в угоду опостылевшей всем «идейности», всерьёз или для вида перерабатывать помеченные строки, потом организовывать банкеты и подарки в ожидании ответных услуг – словом, не имел таланта пристраивать рукописи, без которого почти невозможно было опубликоваться в пору государ-*

*ственной монополии на печатный станок. После каждого слова критики он ходил обожжённый и готов был отказаться от стихотворения, бросить его, как бросал, наверное, гордый тавр своё оружие, если оно побывало в руках врагов. Но когда зависишь от чужого произвола, а не от собственной одарённости и отваги, гордость никак не способствует победе.*

*Недавно исполнилось 10 лет со дня смерти Владимира Иванова. Пора бы восстановить справедливость, хотя трудно говорить о справедливости, когда человека уже нет. Как же всё-таки сохранить нам его наследие и превратить рукописи в книгу? Больше двух сотен стихотворений – таких запоминающихся, таких крымских, многоцветных, неизменно ворожащих шелестом волн, ароматом парков, грустной прелестью жизни среди этих парков и пляжей – жизни, которая уходит.*

*В доме, где жил поэт, я встретился с его сестрой. Искусствовед из Киева, в прошлом работник республиканского телевидения, она как профессионал оценивает стихи и картины своего замечательного брата. Наш отец, говорит Галина Анатольевна, был депутатом Ялтинского горсовета, редактором газеты, с начала войны он в качестве комиссара руководил народным ополчением. Свою жену с четырьмя детьми эвакуировал из Крыма последним танкером, чтобы в начале 1942 года, уже тяжело больным, разыскать их в Казахстане. Он был художником и литератором – писал стихи, повести, рассказы. Он умер, когда Володе было всего семь лет. Сын очень*

*тосковал и всю жизнь гордился своим отцом. В доме любили книги, музыку, играли на гитаре. Свои художественные наклонности мальчик проявлял во всём: много читал, рисовал, лепил из глины.*

*...Других уроков, песен, зла, добра*
*Пришла без опоздания пора.*
*В чернильных пальцах я держал слова*
*Те, что вместить не в силах голова.*
*Спасительная глина помогала:*
*Рождались в ней и форма и начало*
*Тех нужных слов…*

*В 1951 году семья возвратилась в Ялту. Поражённый здешней красотой, Володя мечтает о художественном училище, но без свидетельства об окончании художественной школы туда не принимали.*

*Из трёх крымских вузов он выбрал сельскохозяйственный: специальность агронома тогда многих казалась романтичной. А ещё он ходил в аэроклуб, прыгал с парашютом. На третьем курсе женился, родилась дочка. Не хватало денег, да и специальность будущая вдруг перестала интересовать. Много ли мы понимаем в свои двадцать лет, когда стоим перед выбором на всю дальнейшую жизнь? Он бросил учёбу и поехал на строительство ГРЭС, на заработки. Но и там не повезло – простудился, и очень серьёзно. Туберкулёз. Теперь уже из Ялты нельзя. Вся надежда на самообразование. Володя осваивал технику писания маслом, копируя репродукции великих мастеров. Он даже зарабатывал этим, при случае продавая картины знакомым.*

*Один профессиональный художник, заметив эго работы, предложил альянс: Володя пишет под заказ, а «мэтр» ставит своё имя и реализует в художественном салоне по хорошей цене.* Прибыль – пополам. Молодой художник был так оскорблён, что схватил топор, убежал в подвал дома и там изрубил свой мольберт. В это же время появилось стихотворение «Маляр Антонио»:*

*Все маски его неучтивы и грубы:*
*Широкие скулы, надменные губы –*
*В пыльной мансарде свалены маски,*
*Забытый мольберт и забытые краски…*
*А света томление здесь – вне закона,*
*А гроз ожиданье… то знают вороны,*
*Живущие в каждом предгорном селенье!*
*И он рассмеялся угрюмо и странно*
*И смех его спрятался в тесном ущелье*
*И свет поглотили ущельные тени.*

*Как многие неординарные люди, поэт метался, пытаясь вырваться из замкнутого, бесполезного, а то и губительного для молодой души пространства Ялты. Срывался, выписываясь из города, причаливал то где-нибудь в Подмосковье, то в Средней Азии, то на Соловках. И всякий раз возвращался в нашу «заводь», и всё меньше оставалось в нём иллюзий, всё крепче привязывался он к дому возле речки Учан Су, усмирённой после стометрового водопада неизбежной дорогой к морю. Повзрослев, он окончатель-*

---

* – Право продажи своих картин через специализированные магазины имели только члены Союза художников.

*но осознал себя тавричанином, аборигеном клочка земли, имя которому Крым.*

*Он побывал в каждом его уголке – пешком или на велосипеде; облазил горы, перечитал множество книг о Крыме. Несколько лет работал он экскурсоводом в Алупкинском дворце-музее, ему поручали самые ответственные экскурсии: мало кто так хорошо знал дворец и так интересно мог о нём рассказать. Он мечтал написать историю Крыма в стихах.*

*Если бы не проклятая болезнь, которую до времени побеждала молодость! Владимир Иванов утешает себя в творчестве. Обращаясь к мудрости древних, переводит с подстрочника стихи индийского поэта Бхартрихары «Шатакатраяма» («Триста строф»). Они так подходят к нынешнему, да и ко всякому времени, что ещё раз убеждают: человека мало меняли тысячелетия; и душа его, и общество из века в век живут по одним и тем законам:*

*Коль в государстве нищим стал мудрец,*
*То государь – преступник и глупец.*
*Слепой оценщик, люди, правит вами:*
*Ведь обесценен драгоценный камень.*

*Драгоценным Иванов умел представить и обычный пляжный галечник. Он вертел находку в руках, укладывал на белый лист перед лампой, и мы видели, узнавали вслед за ним силуэты лиц, головы зверей, символы. «Мать Земля», «Скифская богиня», «Пушкин», «Одиссей»… Нет Иванова* – не стало и*

---

* – Поэт, живописец, фотохудожник, ваятель, краснодеревщик, краевед В.А. Иванов умер в 1989 г.

*таких камней на пляже. Обычный известняк или кварц, как его ни верти, сколько не вглядывайся.*

*Прозрачной, как бы словесной акварелью рисует поэт море – дневной подводный мир, в который он часто погружался, пока был здоров:*

*Там, на дне, на песке золотом,*
*Где сплетаются тени волн,*
*Словно нити подводных трав,*
*В сонной сини, от волн устав,*
*Притаился лиловый краб…*
*С ним в подводном раздолье том*
*Не найди свой последний дом –*
*Там, на дне. На песке золотом…*

*Завораживают и картины ночного моря, хотя в них нет, и не может быть цветных красок:*

*Чёрной глади полуночный шёлк.*
*Тихо как в межпланетном вокзале.*
*Чтоб подслушать, что волны шептали,*
*Словно крадучись, к самому краю,*
*К раю чёрному я подошёл…*

*Осенью он научил меня покупать виноград у сторожей и делать вино, как сам утверждал, по древним греческим рецептам, привезённым в Крым ещё потомками Одиссея. Вместе мы собирали на рассвете смоквы, и мне навсегда запомнилось его шутливое звучное двустишие:*

*Я рано встал и потому богат*
*Плодами бури, что рассвет отдал!*

*В тихие солнечные дни межсезонья выходил он к морю, смотрел на волны, слушал. Иногда мы там*

*встречались. Изредка, по настроению, заглядывал я к нему домой. А однажды спохватился: что-то Иванова не видно. Надо бы зайти. Надо бы…*

*Пришёл – уже поздно. Так и жить с этим, вспоминая слова о коротком пути волны, будто предсказание недолго века и того, кто его слушал:*

*В новом свете довелось мне*
*Слушать волн разноголосье.*
*Утренний теряя блеск,*
*Жалуется тихо всплеск*
*«Вся, всё, весь».*
*Вот и вся моя дорога,*
*С нею всё моё волненье.*
*Был недолог путь мой весь…*

*Я прощаюсь с домом неизвестного поэта. Прохожу под ветвями смоковниц, иду вдоль речки к морю. Его речки. Уже совсем притихшей, но вечной, как породившая её горная гряда. Меня провожает хозяйка дома – хранительница рукописей брата. Мы думаем о будущей книге.*

*Успеть бы, пока ещё живы читатели, которые не чувствуют себя чужими в мире рифм, образов, метафор и аллитераций и понимают поэзию как незаменимое, может быть, последнее прибежище в деловом равнодушном мире».* *

…Потом мы пили чай, Галина Анатольевна показывала слайды и фотографии брата.

– Я всегда немного завидовала Володе, считая, что ему «по наследству» передался весь талант отца, и се-

* – Газета «Республика Крым» № 31, 30 июля 1999 г.

товала на то, что брат не реализует его из-за своего характера. А мне от таланта отца ничего не досталось…

## 1880-е – 1890-е годы

*Нет в мире мук*
*Сильнее муки слова*

**С. Надсон**

31 января 1887 года читающую Россию потрясает кончина Семёна Надсона. 25-летний поэт, изгрызенный туберкулёзом, разбитый параличом, ошельмованный и оболганный критиком Бурениным и поэтом С.Н. Бердяевым, в страшных телесных и душевных муках умер в Ялте. Тело страдальца доставляется на родину, в Петербург. До Волковского кладбища гроб поэта несут на руках.

Надсон предвидел свою раннюю смерть. В автобиографии, написанной в сентябре 1884 года, он пророчествует: «В 1884 году начал умирать. Затем – честь имею кланяться. Благодарю за честь!»

Через пару лет, в сентябре 1886 года, в Ялте, поселившись в домике у подножья Поликуровского холма неподалёку от колокольни собора Иоанна Златоуста, изнеможённый поэт под звон колоколов напишет:

*Гаснет жизнь, разрушается заживо тело,*
*Злой недуг с каждым днём беспощадно томит,*
*И в бессонные ночи уверенно, смело,*
*Смерть в усталые очи мне прямо глядит.*
*Скоро труп мой зароют могильной землёю,*
*Скоро высохнет мозг мой, и сердце замрёт,*

*И поднимется густо трава надо мною,*
*И по мёртвым глазам моим червь поползёт…*

Но перед сошествием в могилу Надсон успеет порадоваться – он удостоен Пушкинской премии Академии наук за сборник стихотворений, вышедший в 1885 году и за два года дважды переиздававшийся.

Пушкинская премия являлась самой значительной*. Учреждённая Императорской (Петербургской) академией наук, она присуждалась *«за напечатанные на русском языке оригинальные произведения изящной словесности в прозе и поэзии»*.

…22-летний Владимир Шуф как никто другой переживал потерю своего друга и литературного крестника: Надсон был первым, кто не только благосклонно отнёсся к его стихам, но и рекомендовал их к печати!

…Надо же! Всего полтора месяца назад, 13 декабря 1886 года он, Владимир Шуф, как бы извиняясь, писал другу: *«Многоуважаемый Семён Яковлевич! …Здоровье изменило мне на первом шагу. Я сильно простудился, и возвратился в Ялту совсем больной. Вероятно недели две придётся мне просидеть в домашнем карантине, и я буду надолго лишён удовольствия с Вами увидеться. Довольно подробные сведения о Вашем здоровье я получаю от А.В. Олехнович, но я надеюсь, что Вы сами не откажетесь изредка отвечать на мои письма»*.*

И вот – друга нет. И рождаются строчки:

---

* – В денежном эквиваленте премия равнялась 1000 рублей.
* – Ф.402, 4, 93, л.1-2 С.Я. Надсону. ИРЛ.

*В белоснежном гробу спит певец молодой,*
*Окружённый венками лавровыми.*
*Он над нами горел лучезарной звездой*
*И мирил с небесами суровыми –*
*С небесами, покрытыми тьмою ночной*
*И угрюмыми, серыми тучами:*
*С нашим веком пустым, с нашей жизнью больной,*
*Бедной силами духа могучими.*
*Оглянитесь назад, сколько славных имён*
*Изумлённому взору там встретится!*
*А над нами давно омрачён небосклон,*
*Ни одной в нём звезды не засветится!*

*Ах, зачем же и ты, наш певец молодой,*
*Взят от нас беспощадной могилою!*
*Ты пред нами мелькнул перекатной звездой*
*И погас над землёю унылою.*

*И гляжу я с тоской в беспредельную даль,*
*Где твой след в поднебесье теряется,*
*И мрачней на душе роковая печаль,*
*И тоскливее сердце сжимается!*

…В 1884 году в газете «Неделя» появляется первое стихотворение 19-летнего Шуфа. В этом же году умирает его отец, Александр Карлович Шуф – юрист, историк, педагог, автор труда «О преподавании истории в гимназии» и учебника для гимназий «Рассказы и биографические очерки из русской истории». И в том же 1884 году Владимир Шуф женится на троюродной племяннице композитора Михаила Глинки, Юлии Ильиничне, из интеллигентной, не-

## Эпиграммы на Буренина.

### I.

Критику-архитектору.

Спеціалистъ архитектуры
Буренинъ строилъ только — куры,
Но въ критикѣ онъ зодчій важный
И славенъ бранью трехэтажной.

### II.

Его партійный цвѣтъ?
Кто онъ, нашъ критикъ хмурый?
Не красный-ли? — О, нѣтъ!
Буренинъ — просто бурый.

### III.

Графу Алексѣю Жасминову.

Увы! въ немъ выдохся букетъ,
Жасминчики увяли,
И, какъ vinaigre de toilette,
Годится онъ едва-ли.

### IV.

Буренинъ-критиканъ,
Уймись свою натуру:
Наводишь ты дурманъ
На всю литературу.

### V.

Тупъ и грубъ, Зоилъ сей хмурый
Критиканства палку взялъ,
И среди литературы
Онъ критическій канралъ.

### VI.

Въ сквернословьи неизмѣненъ,
Онъ плыветъ до сей поры,
И боюся я, Буренинъ
Не объѣлся ли бобы?

осмотръ православнаго монастыря
Крестителя, посѣщеніе Сорокадневной горы
православнаго монастыря на ней:

VII

Дуренинъ, тягостный Зоилъ,
Браниться этакъ кстати-ль?
Уйми, уйми свой бранный пылъ, —
Не критикъ ты — ругатель!

VIII

Вотъ во всей своей красѣ
Тэнъ, Брандесъ нашъ и Сарсэ, —
Критикъ въ «Новомъ Времени»
И со льдомъ на темени.

IX

Буренинъ нравится ли вамъ?
Скажу при всемъ народѣ я:
Пародій мастеръ онъ, и самъ
На критика — пародія.

X

Дуренинъ — тупъ,
Дуренинъ — грубъ,
Дуренинъ — дубъ,
И тѣмъ намъ любъ.

XI

Будь то Гейне, будь Россини,
Будь Канова, будь Рембрандтъ, —
Смыслитъ въ нихъ, какъ въ апельсинѣ,
Твой критическій талантъ.

XII

Драматургъ,
~~[illegible]~~, онъ пишетъ драмы,
Хоть отъ нихъ не ждемъ добра мы,
~~[illegible]~~ —
~~[illegible]~~
Хоть причисленъ, авторъ драмъ,
Къ драматическимъ одрамъ.

Не объѣлся [illegible]

XIII

Онъ при помощи чернилъ
Очень многихъ очернилъ,
Но теперь чернильный критикъ
Исписался весь и вытекъ.

XIV

Нашъ Буренинъ, мовстонъ,
Снова пишетъ фельетонъ,
Но и въ этомъ фельетонѣ
Отличился въ томъ же тонѣ.

Уроки!—ну, сами посудите, возможно ли это, когда я всю глупую латынь, кромѣ sapienti sat и memento mori, забылъ совершенно, хотя, стыдно сознаться, я числюс по документамъ кандидатомъ филологич

богатой семьи. Бог весть, как бы сложилась литературная и жизненная судьба Владимира, не постигни его болезнь – обнаруживаются признаки туберкулёза лёгких. Спасение – в поездках на лечение в Ялту. Но вскоре из-за болезни начинающий литератор вынужден был покинуть Москву и купить на окраине Ялты, на границе с селением Ливадия, на Чайной горке, клочок земли с домиком.

Что представляла собой Ялта тех лет? Отсутствие канализации, водопровода, крупных промышленных предприятий. Десятка три ремесленников: булочники, хлебники, портные, сапожники, каменщики, жестянщики удовлетворяли только нужды курортников. На землях, арендованных у местных помещиков, жители разбивали огороды, высаживали табак. В долинах, прилегающих к Ялте, росли фруктовые сады и виноградники. В 1838 году Ялте, насчитывающей немногим более пятисот жителей, получившей статус города, выделили около 8 десятин земли (по нынешним меркам полтора футбольных поля), что поспособствовало строительству. Уже через пять лет, в 1843 году, когда был утверждён первый план города, в Ялте, помимо набережной – пыльной почтовой шоссейной дороги, по которой провозили и вывозили товары и продукты и перегоняли скот – появилась улица Елизаветинская; на ней в 30 домиках проживали 224 жителя.

С 1860-х годов ближайший пригород Ялты – Ливадия, с население в 140 человек на 30 дворов, – становится летней резиденцией царской семьи.

В 1873 году с появлением железной дороги, связавшей Крым с остальными частями России, в Ялте развернулся настоящий строительный бум: возводились дворцы, виллы, особняки, отели, доходные дома, магазины; высшие сановники, знать, купечество – все стремились быть поближе к августейшим особам. Строительным материалом служил местный светло-серый известняк, прочный и декоративный, песок и гравий для построек брали на берегу.

В 1880 году в Ялте было уже более 100 дворов, в которых проживало немногим за 1000 человек.

В 1886 году начинается строительство каботажной набережной, канализации, водопровода, мощного каменного мола длиной 576 метров, способного противостоять напору волн Чёрного моря, и Набережной. Обычная береговая полоса была приподнята, укреплена каменными блоками и обнесена металлическими перилами, что создавало иллюзию борта корабля.

Такой Набережную увидел А.П. Чехов, когда в марте 1894 года приехал в Ялту лечиться… Он остановился в 39-м номере лучшей ялтинской гостиницы «Россия». В Подмосковье и его родовом Мелихове ещё лежал снег, а тут всё зеленело, пели птицы. Но в середине марта пошли дожди, и Чехов, – представьте себе, Чехов! – заскучал.

*«…Я в Ялте, и мне скучно, даже весьма скучно…»* – пишет он из Ялты 27 марта 1894 года несостоявшейся жене, мучительно любящей его Лидии Стахиевне Мизиновой.

(Что же тогда говорить о неуёмном Шуфе, оказавшемся в Ялте на 10 лет раньше Антона Павловича?)

К концу XIX века Ялта превратилась в известный курорт, как бы сегодня выразились, курорт престижности.

…Впрочем, об этом и о многом другом, вы, мой любознательный читатель, можете узнать, поднявшись по канатной дороге на холм Дарсан, где нашёл себе место Исторический музей. Будете в Ялте – не поленитесь, непременно посетите его.

Я же отклонился от центрального персонажа своего литературного расследования, чтобы обрисовать моему любознательному читателю обстановку, в каковой вчерашний выпускник 3-ей классической московской гимназии, жизнелюб, поэт-романтик Владимир Шуф оказался в 1880-х – 1890-ом годах по воле болезни: ни канализации, ни водопровода, лязг, грохот, пыль, словом, «…сплошная Азия» – по выражению А.П. Чехова.

Москвич Шуф тяготится жизнью в маленьком тогда, провинциальном городишке; москвичу Шуфу скучно. Спасает сотрудничество в «Крымском листке», на страницах которого редактор «…Листка» Фани Карловна Татаринова публикует стихи и репортажи молодого поэта. Конечно же, Владимиру этого мало. Он кипит, он фонтанирует энергией, он полон замыслов, его переполняет вдохновение.

23 сентября 1887 года Шуф пишет из Ялты в Петербург М.В. Ватсон:

*«…25 экземпляров предлагаемого Вами сборника некрологов Семёна Яковлевича я надеюсь распродать довольно быстро, если Вы пришлёте мне их на комиссию. Само собой разумеется, что я буду Вам очень благодарен за помещение и моего стихотворения в сборнике. Оно, кажется, понравилось публике, когда было прочитано у нас на литературном вечере, а в одном Московском студенческом кружке произвело даже некоторое впечатление. Пыпин и Стасюлевич, конечно, правы и хорошо делают, не принимая моих стихотворений в такой серьёзный журнал, как «Вестник Европы», но ведь я отважился обратиться к ним с моей просьбой. Только опираясь на суждение и указание Семёна Яковлевича. Указаниям г-на Морозова я последую и постараюсь изменить неточное выражение в моём сонете «На станции». Плещеев, конечно, моих сонетов не одобрит, и я буду просить Вас поместить мои стихотворения в «Наблюдатель». Нельзя ли мне, при Вашем содействии, сделаться постоянным сотрудником этого журнала? У меня есть около 40 стихотворений тщательно выбранных мною для печати из всего мною написанного. Посылаю Вам ещё 4 новых стихотворения, написанных мною в последние дни. … Поместите их куда-нибудь, если можно, и сообщите мне о них Ваше мнение, которое для меня право дороже мнений Морозова и других».*

Вот упомянутый Шуфом сонет: плох он или хорош – судить вам, мой любознательный читатель.

**На станции**
**Сонет**

*Опять вокзал... В степи бушует непогода,*
*Но зала станции огнями залита.*
*Вдоль убранных столов и смех, и суета,*
*И радостный прилив кипящего народа.*
*Но вот пробил звонок, толпа шумит у входа,*
*Вагоны двинулись, и зала вновь пуста,*
*И слышен гул шагов под звучной аркой свода,*
*И стелется в углах пустынных темнота.*
*Так радостных надежд, живых очарований*
*На миг душа моя опять была полна...*
*Но в памяти моей воскресла тень одна,–*
*И нет огня в груди, и в сердце нет желаний,*
*И рушится обман несбыточных мечтаний,*
*И вновь душа моя безмолвна и темна.*

14 декабря 1887 года Шуф, поздравляя Марью Валентиновну Ватсон с наступающим праздником Рождества, вновь хлопочет:

*«...Посылаю Вам ещё несколько стихотворений с просьбой поместить их, если окажутся годными, в какой-нибудь журнал, лучше всего в «Живописное обозрение» или «Недели». Из них два сатирических стихотворения «Новый год» и «Философ», пожалуйста, Плещееву и Гадебурову не показывайте, но поместите их в каком-нибудь юмористическом журнале. Стихотворение, посвящённое Плещееву, мне тоже хотелось бы напечатать, если Плещеев не осмеёт. Воспользовавшись Вашим разрешением на-*

*писать самому к Шелеру, я отправил ему шесть своих стихотворений, справьтесь, пожалуйста, об их участи и об участи других, переданных Вам стихотворений. Мне будет жаль, если Шелер не напечатает одно из последних: «Утомлённый жестокой борьбою…» – оно, кажется, недурно. Ещё меня беспокоит, отчего Шелер до сих пор не печатает моей поэмы «В царстве снов». Не забыл ли? Он прислал мне «Живоп. обозр.» за 1887 год, но дубликата экземпляров на ноябрь и декабрь не высылает, между тем они мне очень нужны. Шелер долго не присылал мне «Живоп. обозр.», и я должен был читать свои напечатанные стихотворения по номерам, добытым из библиотеки. Есть что-то невыразимо ободряющее даже в небольшом успехе. Пожалуйста, Мария Валентиновна, подпишитесь на моё имя из оставшихся у Вас моих 11 рублей на «Живоп. обозр.» на 1888 год, приложив ещё 1 рубль за премию на 1888 год, и 60 коп. на премию за 1887 г., которой мне Шелер не выслал. Пришлите мне, пожалуйста, книжку «Недели», где напечатаны письма графини Любы, в которую я был влюблён целую неделю. С ужасом я смотрю на неимоверное количество поручений, которыми у меня хватило духу обременить Вас. Но, ради Бога, простите, Мария Валентиновна! Мы, провинциалы, не можем обойтись без «оказии», а обратиться кроме Вас, мне не к кому…»*

И вновь не удержусь, чтобы не угостить пытливого читателя моего несколькими, упомянутыми в письме, стихотворениями:

## Философ

*От жизненных вопросов*
*В почтенном далеке,*
*Как истинный философ,*
*Живу на чердаке.*

*В пленительной надежде*
*Прочёл я много книг;*
*Но жизни, как и прежде,*
*Нимало не постиг.*

*И вот, назло прогрессу,*
*В отцовском колпаке,*
*Приблизившись к Зевесу,*
*Живу на чердаке!*

*

***А.Н. Плещееву***

*Новый клад у меня – я его сохраню*
*Посреди драгоценностей наших фамильных.*
*То не крупный алмаз, в переломах гранильных*
*Своим блеском подобный огню…*
*Нет! – на книге простой, на странице заглавной*
*Две коротких, небрежных строки*
*Мне написаны почерком беглым руки,*
*Незнакомой, но славной.*
*Когда эта рука будет тленье и прах,*
*И в твореньях своих оживёт только гений,*
*Долго имя его для других поколений*
*Будет жить также в этих строках…*

*И с восторгом смотрю я на них и с любовью;*
*И мне видится снова тот витязь седой,*
*Долго бившийся с дикой глухою средой,*
*За борьбу заплативший свободой и кровью!*

И, наконец, то самое, из «Крымских…»; то, что не спешил печатать Шелер:

* * * * * *

*Утомлённый жестокой борьбою,*
*Всё на свете на миг позабыв,*
*Я не мог уж бороться с собою*
*И сдержать свой безумный порыв.*

*Как пловец, я во время ненастья*
*Вдруг лишился надежды и сил,*
*Я просил невозможного счастья,*
*Я любви невозможной просил!*

*Вся тоска позабытых желаний*
*Поднялась в моём сердце опять,*
*И не мог заглушить я рыданий*
*И безумного горя унять!*

*«…Надеясь в новом году на новое счастье,* – пишет Шуф **3 генваря 1890 года** из Ялты всё той же М.В. Ватсон, – *высылаю Вам целый ворох стихотворений – мои «песни Крымских татар» и новое стихотворение «Пролетарий». Примите их под своё покровительство, Мария Валентиновна, и не дайте моему труду пропасть даром. Надеюсь, что Александр Константинович постепенно напечатает их в «Живоп. обозрении». По крайней мере, он печатал*

Владиміръ Шуѳъ.

# Крымскія стихотворенія.

Изданіе второе, дополненное.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Тип. А. Дорогобужскаго, Бассейная, д. 3—5.
1898.

*песни крымских татар, которые я посылал ему раньше. В этом цикле песен отражаются всё мировоззрение и вся поэзия этого народа, и поэтому хорошо бы напечатать их без значительных промежутков времени, чтобы цельность впечатления не утратилась…»*

*«…Говорят, в Ялту скоро на всё лето приедет Чехов, который собирается здесь практиковать – он ведь, знаете, доктор,* – делится новостью Шуф в следующем письме к Вильсон 10 июня 1890 года, и ниже, – *Эртель дал мне прочитать «Крейцерову сонату» Толстого, о которой Вы мне писали, но она произвела на меня невыгодное впечатление, как и все последние произведения графа Толстого. На днях я надеюсь услышать музыкальное исполнение этой сонаты Бетховена. Несколько времени тому назад я получил приглашение от Литературного Фонда принять на себя устроение концертов и литературных вечеров в пользу Фонда в Ялте и привлекать новых членов в общество. Я до сих пор ещё не дал ответа Фонду, так как в данную минуту у меня нет свободных денег для членского взноса…»*

Здесь, неутомчивый читатель мой, сделаем паузу, чтобы познакомится со стихотворением Шуфа:

**Пролетарий**

*Оборванный, полунагой,*
*С широкой грудью волосатой,*
*Он стал рабочим и слугой,*
*Доволен был подённой платой.*

*И проходил он города,*
*Стучал в их сумрачные зданья,*
*Прося работы и труда,*
*Как нищий просит подаянья.*

*Пред ним захлопывали дверь –*
*И вот во тьме, под кровом неба*
*Один остался он теперь*
*Без пропитания и хлеба.*

*В его душе росла тоска,*
*В груди – подавленная сила.*
*И злобно сжатая рука*
*Кому-то в сумраке грозила.*

*А сонный город перед ним*
*Горел вечерними огнями,*
*И подымался чёрный дым*
*Из труб фабричных над домами;*

*Чернели церкви там и тут,*
*Виднелся шпиль остроконечный,*
*И мирно спал богатый люд,*
*Довольный, праздный и беспечный.*

Следующее письмо от Шуфа на имя М.В. Ватсон будет уже из Москвы.

***«26 генваря 1891 года***
***Москва.***

*Многоуважаемая Марья Валентиновна! Моя поездка этой зимой в Петербург, кажется, не состоится. Я думал поехать на праздниках, но у меня столько дела в Москве, что приходится отложить*

*своё намерение. Я был бы очень рад видеть Вас, но, кажется, и Вы не собираетесь в этом году в Москву. В Москве я начинаю немного устраиваться. Читали Вы три моих фельетона в «Русских Ведомостях»? Я надеюсь, что мои статьи будут принимать здесь и далее, хотя, к сожалению, в «Русских Ведомостях» столько материалов и сотрудников, что нельзя, конечно, рассчитывать более, чем на один фельетон в месяц. Платят в «Русск. Вед.» довольно хорошо – по 7 к. за строчку и недавно я получил первый свой гонорар в размере 56 р. 40 к. Вообще, я очень доволен, что могу писать в такой солидной газете. Если «Русский Курьер» будет выходить, я буду писать и здесь…*

*…Видели ли Вы «Пиковую даму» Чайковского, Мария Валентиновна? В Москве ею очень интересуются, но к нам она попадёт, вероятно, тогда, когда её костюмы и декорации истреплются на сцене Мариинского театра. У нас эту оперу пока поют в частных домах, и я познакомился с её музыкой…*

*…Я очень скучаю в Москве без своих детишек, но что же делать? Сидя у себя на ферме, далеко не уедешь.* (Шуф имеет ввиду свой домик с хозяйством на Чайной горке в Ялте. Прим. Вл. Кудрявцева).

Но – болезнь – не тётка. И Шуф прощается с Москвой. 16 января 1892 года он пишет из Симферополя своему приятелю, философу, поэту, публицисту и критику Владимиру Соловьёву:

*«Многоуважаемый Владимир Сергеевич! Я уже в Крыму, на службе, и пишу Вам письмо в дежурной*

*комнате Казённой Палаты, казёнными чернилами. Боюсь, чтобы и слог письма в этой обстановке не сделался казённым.*

*Из золотой рамы на меня грозно смотрит портрет Николая Павловича. Но если я и не занимаюсь перепиской по собственной надобности в часы, назначенные для дежурства, то я всё же не виноват: дежурство, всё равно, заключается в ничегонеделаньи. Это своего рода созерцательное состояние.*

*Итак, препровождая настоящую переписку, честь имею уведомить Вас о моём назначении помощником столоначальника в 1-ом отделении 1-го стола Таврической Казённой Палаты с окладом 500 рублей в год.*

*Место жительство имею: в городе Симферополь, Таврич. Губ. Малый Губернаторский переулок, дом Софроновой.*

*Ах, Владимир Сергеевич, если бы Вы знали, что это за служба. Камень Сизифа, бочка Данаид, толчение воды в ступе, – ничто в сравнении! Глупая и бесплодная канцелярщина… я утешаюсь только надеждой получить через год место податного инспектора. Тогда будет хоть материальное обеспечение и более свободного времени для литературных занятий.*

*В Симферополе у меня пока нет знакомых Город этот по преимуществу чиновничий. Белые фуражки с кокардами – на каждом шагу. Зато как хорошо кругом! Какая воля, какой простор! Я по целым часам засматриваюсь на далёкие крымские горы и голубой Чатырдаг. Наконец, я видел море, – что ещё больше могу сказать я?*

*Право же всё это очаровательнее Вашей речки близ Сходни, Ваших сырых сосновых рощиц и сухого энциклопедического словаря, ради которого Вы остались под Москвою.*

*«Баклан» мой всё что-то не появляется в «Вестнике Европы». Я за него очень беспокоюсь. Меня тревожит, что Стасюлевич так и не ответил на моё письмо, о котором я говорил Вам (с просьбой о деньгах). Что если Стасюлевич раскается и под каким-нибудь предлогом откажет мне в напечатании поэмы?..*

*Будьте так добры, Владимир Сергеевич, напишите мне, принят ли в «Русских Ведомостях» мой рассказ, или Вы передали его в «Ниву». Ещё хочу просить Вас прислать мне Ваш портрет с надписью. И в Симферополе я желал бы видеть своих московских знакомых. Вчера в письме я просил о том же Афанасия Афанасьевича. Были Вы у него в деревне?*

*Буду с нетерпением ждать Вашего письма, Владимир Сергеевич. До свидания. Я пишу по Вашему московскому адресу.*

***Помощник Столоначальника В. Шуф.»***

И здесь, снова и снова, просьбы и просьбы о содействии в публикации стихов!

…Это сегодня всяческая ахинея и мура безграмотная и несусветная, бессовестно претендуя называться стихами, запросто полонит все мыслимые и немыслимые издания…

Но, терпеливый читатель мой, вот стихотворение Шуфа об упомянутом в письме Чатырдаге:

*Видишь там, среди тумана,*
*Сквозь ночную тьму*
*Чатырдага-великана*
*Белую чалму?*

*На груди его могучей*
*Ветер, дух небес,*
*Словно бороду, дремучий*
*Колыхает лес.*

*И склонив на землю око*
*С мрачной высоты,*
*Сторожит он одиноко*
*Горные хребты.*

*И один орёл могучий*
*Взмахами крыла*
*Чёрных дум свевает тучи*
*С грозного чела.*

Афанасий Афанасиевич Фет восторгался стихами Владимира Шуфа. За два месяца до смерти он дарит ему свою фотографию с автографом: *«Молодому поэту Вл. Шуфу на память старый А.Фет. 21 августа 1892»*.

В своём отклике на статью Н.М. Гутьяра «И.С. Тургенев и А.А. Фет» (1900 г.) Семенкович (племянник Фета) вспоминает:

*«Начинающий поэт, г. Шуф, познакомил дядю с некоторыми своими произведениями, которые очень понравились дяде и от которых – в особенности от описания Крыма и моря – он пришёл в восторг. Он начал хлопотать, чтобы одно крупное произведе-*

*ние г. Шуфа было напечатано в одном из изданий, к которым дядя был близок, – но это почему-то ему не удалось. Кажется, дядя настаивал, чтобы эти издания не скупились и хорошенько заплатили автору, а ему предлагали «дёшево»; дядя умел считать, особенно если это касалось интересов другого, ему доверившего лица. Тут случился Вл. С. Соловьев, и дядя обратился к нему с просьбой похлопотать за г. Шуфа в редакции «Вестника Европы» – «там хорошо заплатят»,– говорил дядя. Вл. Соловьев и сам нашёл, что произведение молодого автора очень хорошо, похлопотал, и, действительно, в «Вестнике Европы» стали печатать г. Шуфа. Дядя был в восторге и благодарил В. С-ча без меры».*

Здесь речь, без сомнения, о лирической поэме Владимира Шуфа «Баклан». С этой поэмой связан такой камуфлет. В 1888 году Антон Павлович Чехов впервые приезжает в Крым. Из Феодосии он пишет сестре:

*«От Симферополя начинаются горы, а вместе с ними и красота. Ямы, горы, ямы, горы, из ям торчат тополя, на горах темнеют виноградники – всё это залито лунным светом, дико, ново и настраивает фантазию на мотив гоголевской «Страшной мести»… В Севастополь я приехал ночью. Город красив сам по себе, красив и потому, что стоит у чудеснейшего моря…*

*Ялта – это помесь чего-то европейского, напоминающего виды Ниццы, с чем-то мещански-ярморочным… Утром в 5 часов изволил прибыть в Феодосию – серовато-бурый, унылый и скучный на вид*

*городишко… Всё выжжено солнцем, и улыбается одно только море… Купание до того хорошо, что я, окунувшись, стал смеяться без всякой причины… Через час после приезда меня повезли на завтрак к некоему Мурзе, татарину. Тут собралась большая компания: Суворины, главный морской прокурор, его жена, местные тузы, Айвазовский… Было подаваемо около 8 татарских блюд, очень вкусных и очень жирных. Завтракали до 5 часов…»*

В июле 1888 из Феодосии же И.Л. Леонтьеву-Щеглову Чехов сообщает:

*«…Деревьев и травы в Феодосии нет, спрятаться некуда. Остаётся одно – купаться. И я купаюсь. Море чудесное, синее, и нежное, как волосы невинной девушки. На берегу его можно жить 1000 лет и не соскучишься».*

Через год писатель снова в Крыму. *«Я еду в Ялту,* – сообщает он в письмах, – *и положительно не знаю, зачем я туда еду…»* Он остановился на даче Фарбштейна в Черноморском переулке.

Что видел Чехов, гуляя по главной улице города? Работы по благоустройству набережной и мола, магазинчики на первых этажах гостиниц, кондитерские и кафе с причудливыми названиями «У Жоржа», «Монплизир». «Флорена», городской сад, где находился театр, курзал и библиотечный павильон, дачу Врангеля «Вира», сады и парки Мордвинова, городской рынок, собор Иоанна Златоуста на Поликуровском холме, Ялтинскую бухту, павильон Верне на набережной… Тот самый, что упомянут в рассказе

«Дама с собачкой»: *«Сидя в павильоне Верне, он увидел, как по набережной прошла молодая дама, невысокого роста блондинка в берете; за ней бежал белый шпиц».*

Но по этой же набережной прогуливался, наблюдая за курортной жизнью, и Владимир Шуф. Неважно как произошла встреча двух русских литераторов. Но она произошла. И Шуф сопровождал Чехова в поездке по Крыму – Форос, Симеиз, Алупка, Ялта, в Балаклаве ловил с ним рыбу. Ни эта ли рыбалка подвигла Шуфа заявиться к Чехову в Мелихово с поэмой «Баклан»? 32-х летний Антон Павлович посоветовал 27-ми летнему поэту поэм больше не писать, а в письме редактору «Нового времени» А.С. Суворину охарактеризовал поэму «дрянью ужасной и притом сплошь глупой». Каково же было раздражение Чехова, когда в том же 1892 году он видит «Баклана» в «Вестнике Европы», к тому же тепло встреченного критикой и восторженно – Афанасием Фетом и Владимиром Соловьёвым.

Уважая моего верного читателя, позволю предложить пару-тройку ему отрывочков из предмета раздора:

*Баклан споткнулся... под ногой*
*Скатился камень, вслед другой;*
*С уступов падая каскадом,*
*Они шумели в грудах скал.*
*И Кира вздрогнула... с ней рядом*
*Баклан, насупившись, стоял.*
*Полны смущенья и испуга,*

А сонный городъ передъ нимъ
Горѣлъ вечерними огнями,
И поднимался черный дымъ
Изъ трубъ фабричныхъ надъ домами;

Чернели церкви тамъ и тутъ,
Взнялся шпиль остроконечный,
И мирно спалъ богатый людъ,
Довольный, праздный и безпечный.

*Они взглянули друг на друга.*
*Кто скажет, как с волной волна,*
*В равнине вод, в дали безбрежной*
*Сближается, любви полна,*
*Печальных дум и грусти нежной,*
*И как цветок находит свой*
*Пчела, летая над травой?*
*Как быстрый ветер после бури*
*Встречает в небе облака*
*И в даль по блещущей лазури*
*Несёт их рой издалека?*
*Кто знает тайну волн, эфира,*
*Цветов и любящих сердец?*
*И кто нам скажет, наконец,*
*Как сблизились Баклан и Кира?*
*Порой улыбка или взгляд,*
*Испуг, смущенье робкой встречи*
*Сердцам влюбленным говорят*
*Понятней слов, яснее речи.*
***
*И в эту блещущую ночь,*
*Когда и скал гранитных глыбы*
*Любви и страсти превозмочь*
*В своём безмолвье не могли бы,*
*Когда, смятения полны,*
*С волненьем сладостной печали*
*Восход торжественный луны*
*И камни трепетно встречали, –*
*В такую ночь ужели мог,*
*Хотя б за все богатства мира,*

*Молчать Баклан; ужели Кира*
*Могла бы скрыть весь рой тревог,*
*Теснивших грудь могучей страстью,*
*Искавших нежных слов, имён,*
*И звавших к радости и счастью,*
*Как грёза светлоая, как сон?*
***
*Восторгом ночь сияла эта,*
*И море, как огонь их глаз,*
*Тонуло в блеске, в волнах света,*
*Переливаясь, как алмаз.*
*Сливался в дымке золотистой*
*С луною сумрак голубой,*
*И хоры звёзд с лазури чистой*
*Светились кроткою мольбой.*
*И в этот час в объятьях мира*
*Земля дремала в чутком сне,*
*Когда друг другу в тишине*
*Сказали всё Баклан и Кира.*
*И только шумная волна,*
*Когда они рука с рукою*
*Над светлой бездною морскою*
*Стояли вместе, – лишь она,*
*Тоски и ревности полна,*
*Вся в брызгах, в пене серебристой,*
*Ударила в утёс скалистый,*
*Метелью брызгов, плеском струй*
*Смутив их первый поцелуй.*

***

*Безмолвен полдень. Даль открыта.*
*Плывут над морем стаи туч.*
*Нависли скалы; дремлет кручь*
*Из раскалённого гранита,*
*На солнце гребни их горят,*
*И жёлто-красно-серый ряд*
*Своих иззубренных откосов*
*Купает в море цепь утёсов.*
*Их разноцветная стена*
*В лазури волн отражена.*
*Плывёт, лавируя без цели,*
*Челнок в лазурные поля.*
*Задумчив, грустен у руля*
*Сидит Баклан; минуя мели,*
*Он правит чёлн едва-едва,*
*На грудь склонилась голова.*
*Прошли коротких три недели*
*С тех пор, как с Кирой глаз-на-глаз*
*Баклан сошёлся в первый раз.*
*Часы, мгновенья, дни летели...*
*В восторгах счастья обо всём*
*Они забыли, не слыхали,*
*Как грянул вдруг нежданный гром,*
*И, возвратясь, Мавромихали*
*Стал господином над добром*
*И над женой своей, как прежде.*
*Заснули в радостной надежде*
*Они на ложе пышных роз,*
*Хранимом грёзами одними.*
*А между тем, как призрак, рос*

*И подымался перед ними*
*Немой, безвыходный вопрос.*
*Баклану вспомнилось свиданье*
*У башни замка в эту ночь,*
*И Кира бледная, точь-в-точь*
*Как мраморное изваянье.*
*С печальной статуей сходна*
*Была так Кира в платье белом...*
*Стоял в молчанье онемелом*
*Над ними замок, и одна*
*Была луной освещена*
*Седая башня... взор повсюду*
*Встречал камней огромных груду.*
*Один из них, склонившись вниз,*
*Над тёмной пропастью навис...*
*Одно движение, – и шумно*
*Слетит он в бездну. Сходен он*
*С их счастьем, сладостным как сон,*
*С любовью их, такой безумной!*
*Так говорила Кира. Да.*
*Или расстаться навсегда*
*Они должны... Совсем, навеки...*
*Или бежать с ней… но куда?*
*У Киры родственники греки*
*Есть в дальнем городе. Она*
*Звала с слезами и мольбою*
*Туда Баклана за собою.*
*Там снова будет жизнь полна,*
*Они вдвоём забудут горе...*
*Восторг их счастья будет чист...*

*Она при нём, он – колонист...*
*Но море, где же будет море?*
*Он вздрогнул, он глядит вокруг.*
*Конца нет ровной, синей дали!*
*Вот волны мерно заплескали,*
*И вал седой, как старый друг,*
*Обнял челнок его с налёта.*
*Но, чу! Там, в небе, плачет кто-то…*
*Должно быть, чайка... Кира, да! –*
*Она так плакала тогда,*
*Сказав ему, что смерти хуже*
*Теперь остаться жить при муже.*
*Но ведь и он не спорил с ней, –*
*Оставить мужа ей честней,*
*И что ж несносней для Баклана*
*Притворства, скрытой лжи, обмана?*
*К чему же это всё, к чему*
*Ей было говорить ему?*
*Там, в этом городе далёком,*
*Они и в бедности найдут*
*Гостеприимство и приют,*
*И ровным, радостным потоком*
*Жизнь потечёт беспечно вновь,*
*И будет счастьем их – любовь!*

**Вторая половина первого десятилетия 2000-х**

Повторю – это был период решающих решений и решительных поступков, это был период открытий и приобретений – это был прекрасный период.

Я побывал на ялтинском (Поликуровском) кладбище, где …, но об этом, пожалуй, – и если будет необходимо, – позже.

Сейчас же – продолжение повести об Ивановых. Оно неминуемо как свидетельство невероятных сюрпризов, которыми способна нас ошеломить наша жизнь.

…Итак, мы пили чай, рассматривали фотографии и слайды Владимира Иванова.

– Галина Анатольевна, вот вы говорите, что весь талант вашего отца передался вашему брату. Вы меня заинтриговали. Расскажите о вашем отце.

– Жизнь нашего отца была типичной для его поколения. Я отца почти не помню, мне и четырёх не было, когда его не стало. Но рассказы мамы и его сестры, то, что можно узнать из старых писем и документов, – всё сплетается в одно целое, и его образ оживает, как на старой киноленте. Впрочем, я сейчас отыщу и дам вам почитать газету с моим очерком по заказу «Крымской газеты», недавно отметившей своё семидесятипятилетие. Наш отец был одним из первых её редакторов, и последним довоенным.

Выше я уже неоднократно каялся, что я преступно ленив, и, что если бы не моя лень…

Словом, прочитав в газете очерк «…Такая короткая долгая жизнь», я ещё раз прочувствовал, насколько я ничтожен своей ленью.

Кто умножает познания, умножает скорбь – говорится в Екклесиасте.

Но моя скорбь умножилась позже – у моря и по дороге в Алупку. А сначала…

Сначала это было как гром, как молния среди ясного неба!

*– Анатолий Иванов родился первенцем в русской добропорядочной и благополучной семье в 1905 году в Самаре. Отец был машинистом-железнодорожником, мать и бабушка занимались воспитанием детей, которых в семье было пятеро. События, разрушившие государственный строй, лихолетья гражданской войны смели и эту «ячейку государства». Сначала погиб отец – поезд, который он вёл, пытались захватить белочехи в 1918 году, в перестрелке он был тяжело ранен. Тринадцатилетний мальчик, внук священника, день и ночь на коленях молился, чтобы отец выжил…*

*Не успели опомниться от одного горя, не стало и матери – умерла во время эпидемии. Вместе с ослепшей от потрясения бабушкой он стал главой для осиротивших детей. Жили за счёт вещей в доме, потом четверых младших определи в детский дом, а отец, как только ему исполнилось четырнадцать, пошёл в железнодорожное депо чернорабочим.*

*Моя тётя Валя, младшая из детей и единственная, дожившая до старости, пройдя медсестрой Великую Отечественную войну, со слезами рассказывала, как в голодное время приходил он к ним в приют и приносил булочку: «Сам не ел, нам нёс». Надо сказать, что все дети Ивановых, несмотря ни на что, вышли в люди. Только жили недолго, всех троих братьев – Анатолия, Михаила и Виктора – унесла война, а старшая из сестёр, Юлия, ставшая судьёй, умерла вскоре после войны.*

*О дальнейшей жизни нашего отца можно судить по записям в «Трудовом списке»: рабочий по найму, сторож в станционном управлении, курсы волостных земработников. Затем два года учился в советской партийной школе и вышел из неё комсомольским работником. В восемнадцать лет он секретарь райкома комсомола, в девятнадцать вступил во Всероссийскую коммунистическую партию, работал инструктором в райкоме партии.*

*Но его влекло творчество. Большой любитель чтения, он начинает писать и сам. Пробует себя в живописи. К двадцати своим годам встал на путь профессионального журналиста.*

*Наступили годы подъёма страны. Нужны были не только рабочие руки, но и («вначале было слово») вдохновители-организаторы. Отец был «брошен» на освоение Голодной степи… –*

Сердце моё ёкнуло – «Голодная степь! Голодная степь!.. Неужели?! Впрочем…»

*– …Выпуск газеты, листовок и агитплакатов, выступления в полевых станах – всё это было тогда содержимым его жизни,* – читал я далее. *– Но он урывал время и для заветного – писал стихи, рассказы, повести. Две из них («В тенетах» и «Пронькино сердце») были изданы отдельными книжками. В семье сохранился его членский билет «Казахстанской ассоциации пролетарско-колхозных писателей», выданный в 1932 году, а его сестра Валя утверждала, что он присутствовал на Первом Съезде писателей СССР…*

*В нашем архиве сохранилась также почётная Грамота ВЦСПС и ВЛКСМ, которой ответственный редактор газеты «Социалистический Пахта-Арал» Анатолий Владимирович Иванов награждён «за ударную работу по внедрению механизированной уборки хлопка 1933 года». В 1934 году своё профессиональное мастерство совершенствовал на курсах редакторов при Институте журналистики в Москве.*

*Последнее место работы отца до переезда в Ялту – газета «Правда Южного Казахстана» в городе Чимкенте в качестве ответственного секретаря. Там, в Чимкенте, и познакомился он с мамой…*

Сердце моё оборвалось… В Чимкенте…

*...Вечерами отец,* – читал я взволнованный, *– вёл культпросветские курсы для молодёжи, куда подружки уговорили пойти и молодую вдову Анну – им нравилось, как интересно и увлекательно проводит лектор занятия. Первый муж матери был механизатором и во время уборочной, когда ремонтировал трактор, его придавило машиной. Осталась она с сыном и дочкой, малолетками, которые отца своего и не помнили.*

*У отца на ту пору тоже был десятилетний сын, которого он воспитывал один. Когда поженились, и появился их первенец, в семье сразу стало четверо детей. В браке родители жили счастливо, а все дети для обоих – свои, родные.*

*В те годы у «агитаторов-горланов» (по выражению Маяковского, к коим отец и себя причислял) микрофонов не было, потому болезни горла у них*

*встречались часто. Вот и у отца голос стал срываться на сиплый шёпот. Врачи признали у него туберкулёз и рекомендовали морской климат, что и послужило причиной переда в Крым.*

*Дорога была не скорой, с остановками у друга в Москве, у брата Михаила в Куйбышеве, а маме, которая пока оставалась в Чимкенте, писал частые, подробные письма.*

*Они не только дороги сейчас детям и внукам, но и дают представление о том времени. Приведу отрывки из его писем уже по приезде его в Крым.*

«Симферополь – столица Крыма, большой и красивый город, весь в зелени. В городе ходит трамвай не хуже Ташкента. Здесь жарко. Когда приехал, вещи сдал в камеру хранения, сам поехал смотреть город, потому что время ещё 6 утра. В 9 часов позавтракал, а в 10 пошёл в обком партии. В обкоме меня внимательно выслушали, проверили документы и сказали, что работу могут дать хоть сейчас, потому что работников здесь не хватает. Мне предложили сначала редактором в один хлопковый район (здесь тоже есть хлопок), но отказался, потому что это далеко от моря, а мне надо лечиться.

Договорились так: я поеду в Ялту, полечусь немного и ознакомлюсь с редакцией ялтинской газеты, которая называется «Всесоюзная здравница». Газета большая, ежедневная. Мне сказали в обкоме, что если понравится, то я буду назначен заместителем редактора этой газеты. Если же почему-либо не понравится, то меня могут послать в Се-

вастополь или другой район Крыма. Одним словом – видно будет. Но факт тот, что мы будем жить в Крыму у моря».

**(28 сентября 1936 года)**

*Из Ялты:*

«…Здесь голос мой значительно улучшился, разговаривая, как следует, на шёпот ни разу не переходил. Но всё-таки остерегаюсь лишнего разговора и стараюсь больше молчать… В редакции ещё не был. Сегодня утром ходил в баню. Номер с ванной стоит 2 рубля и в 10 раз лучше чимкентской. Есть семейные номера, там две ванны, могут мыться сразу муж и жена, цена тоже 2 рубля. Вымылся. Купил себе рубашку-сорочку и два воротничка, оделся и пошёл к морю.

Публики – тьма, все любуются морем, воздух свежий, погода замечательная. Вчера вечером здесь в городском саду выступала на сцене знаменитая певица – исполнительница цыганских романсов Тамара Церетелли. Сюда часто приезжают знаменитости. Ялта считается самым красивым приморским городом. А самое главное – в Ялте единственная в СССР горловая лечебница и лучший климат для лёгочных больных».

(30 сентября)

«…Познакомился с редактором, показал ему бумажку из Крымского обкома, рассказал о себе. Оказывается, редактор тоже из Казахстана, хорошо знает Чимкент и всех партийных работников. Он

работал в крайкоме партии (Алма-Ата) и приехал в Крым тоже с таким же горлом, как у меня. Это было 8 месяцев тому назад, а сейчас у него хороший нормальный голос. Я спрашиваю: каким образом вылечился? Он ответил, что ему помог главным образом климат, кроме того, он лечился у лучшего специалиста – главного врача горловой клиники. Тут же редактор пишет записку к этому врачу и просит его уделить мне такое же внимание, как и ему уделял.

«Давай, иди сейчас к этому врачу, а об остальном завтра поговорим», – сказал редактор, и я направился опять к врачу. Его кабинет находился на высокой горе. Тяжело подниматься. Но дошёл. Показал ему письмо, он прочитал и очень любезно предложил мне сесть в кресло… Три раза смотрел главный врач и один раз его помощник. Оба заявили: «Никакого туберкулёза нет, есть заболевание голосовых связок, и очень хорошо, что вы приехали в Ялту. Только здесь вы восстановите свой голос… Врач дал слово, что вылечит. Когда я вышел из его кабинета, мне хотелось петь и танцевать. Всё время улыбаясь, в радостном настроении я спустился к морю на пляж.. там лежат на берегу и купаются много людей… И я решил искупаться. Разделся, подошёл к воде, и набежавшая волна окатила меня с головой… После купания пошёл в райком партии, познакомился с секретарём. Он тоже дал своё согласие на работу в редакции…»

(1 октября)

Первое время, пока был один, отец жил в гостинице, а когда приехала вся семья, своим жильём поделился председатель исполкома – отгородили половину большой комнаты. Потом редакцию перевели в новое здание, а освободившееся стало жилым домом, где дали квартиру и семье отца.

Бывают удивительные встречи. Много лет спустя мой брат Володя был в Киеве в одной компании и оказался за столом рядом с незнакомой солидной дамой. Разговорились, и выяснилось, что она та самая девочка Стелла, дочка председателя (фамилия его была Моргулин или очень похожая), которая подружилась тогда со старшими детьми. Она вспоминала, как скромно и дружно жили две семьи, и даже какое вкусное какао готовила наша мама. Квартира эта была на улице Кирова, а редакция в Партизанском переулке – там же, где была и после войны

Этот период жизни в Ялте можно было бы считать счастливым – любимая работа, гармония в семье, устроенность быта, если бы не страшное, что было под спудом, чем клеймено то время – политические репрессии, слежки НКВД, абсурдные обвинения и аресты. В те годы в Казахстане был сослан на каторгу и отец мамы, путевой обходчик Василий Мирошниченко по статье «Диверсии на железных дорогах». На самом же деле он предотвратил аварию.

Из Москвы пришло известие, что арестован лучший друг отца, писатель Валентин Смирнов. Ходил он тогда подавленный, но ничем помочь ему

не мог – ни даже послать слова сочувствия его жене. Маме объяснял: «Я его не спасу, только себя погублю. Там, наверху, предательство. Но разберутся, обязательно разберутся».

*Печать, как известно, была под особым прицелом. Поэтому, когда отец принял пост редактора, газету не доверял никому – обязательно ещё и сам вычитывал всё от строчки до строчки. Даже когда был болен и лежал с высокой температурой – гранки ему приносили домой.*

*По его поступкам, по «деталям» складывался для меня образ отца. Вот такой пример. Когда появилась на свет я – пятым ребёнком в семье и его любимицей по праву самой маленькой, – отец с пелёнок учил меня говорить. И, наверное, из любви к нему, уже в год я стала складывать слова в предложения.*

*– Собирается отец на работу, – рассказывала мне мама, – ты глаз с него не сводишь, сидя в своей кроватке. Он уже на пороге, а ты кричишь: «Папочка, ты забыл надеть галоши».*

*Он благодарит дочку за внимание, надевает галоши и идёт в них на работу. А на улице сухо, солнце светит.*

*– Мог же он их скинуть за порогом, – сказала я тогда. Мать посмотрела на меня с укором:*

*– Ну, что ты… Нет, он шёл в галошах.*

*И я поняла, что для него это было бы ложью, предательством душевного порыва ребёнка. Вот так и шёл по солнечной Ялте в галошах, а ведь лю-*

*бил одеваться со вкусом и личностью в городе был заметной – не только редактор газеты, но и депутат горсовета, член бюро горкома партии.*

*Появился и ещё один малыш в семье – мой ровесник, двоюродный братишка. Когда отец узнал, что в Чимкенте заболела туберкулёзом мамина сестра Варя, пригласил её с ребёнком у нас жить и лечиться. Это тоже поступок.*

*Грянула война, а вскоре и наша эвакуация из Крыма. Отца вызвали на сборы комполитсостава народного ополчения Крыма (ополчение не состоялось из-за стремительного наступления фашистов, но у нас сохранилась справка, подписанная начальником штаба майором Сметаниным о том, что комиссар батальона народного ополчения А.В. Иванов находится на учебных сборах с 15 по 23 сентября 1941 года). Над городом уже летали вражеские самолёты, когда пришли к маме из горкома и сказали, что нас срочно отправляют на танкере – договорились с отцом по телефону. Маме после операции нельзя было поднимать тяжёлого, но она взяла меня на руки и понесла, старшие дети – 5, 8 и 10 лет – шли с маленькими мешочками за спиной.*

*Загрузились на танкер – сплошь тюки и люди. Мама верила, что отец появится попрощаться, и стояла у борта. И он появился, но между причалом и танкером уже ширилась полоска моря, опоздал – мотор «ГАЗика» у п. Никита заглох, и пришлось ему дальше бежать. И всё-таки увиделись, он даже тёплую кофточку ей кинул. Это было 23 сентября.*

*Отец оставался в городе. Хотел, кстати, отправить в тыл и тётю Варю на теплоходе «Армения» (с нами она не ехала из-за болезни ребёнка), но когда она уже поднималась по трапу, – вдруг развернулась и сошла на берег. Так и осталась в оккупации, но не погибла вместе со всеми на потопленной у Гурзуфа «Армении».*

*4 ноября отец по заданию обкома вывез в Севастополь «партийно-секретные документы». Можно предположить, что в этих документах были сведения о членах партии – активе города. И, конечно, они не должны были попасть в руки врагов – расстрелов было бы много больше.*

*А мы четыре дня плыли на палубе танкера до Туапсе. Потом ещё больше месяца ехали в товарном составе на восток. Вагон был товарный, в вагоне страшная теснота и духота.*

*– Вы с Володей заболели, – рассказывала мама, – мечетесь оба в жару, просите «хлебца», «водички». Не было ничего. Выставлю в окно кружку, соберу дождевой воды, что с крыши текла, согрею за пазухой и даю вам.*

*Потом условия были уже получше. На больших станциях мать бежала «добывать» пищу, заходила в учреждения, какие встречались, просила помочь. Помогали – кто карточки хлебные отдаст, кто домой с запиской пошлёт. Тогда никто не мог сказать, сколько поезд простоит и куда дальше пойдёт. Однажды она чуть не потеряла нас – пришла, а поезда нет, перевели, как оказалось, на другой путь. Пока*

*нашла нас, состав уже тронулся… Бежала она рядом с последним вагоном, кричала и даже не увидела чьи сильные руки подхватили её и подсадили в вагон. А у неё ноги подкосились, стоять не может. Много было «приключений». Но доехали живые и без потерь, хоть вконец измученные, до города Джалал-Абад, в Киргизии, где жил мамин брат.*

*Заканчивался 41 год. Наступало новогодие, а мама даже не знала, что с отцом, жив ли. Расставаясь, они условились, что когда мы доедем, она сообщит телеграммами всем родственникам и знакомым, где мы. Так он нас и разыскал через мамину подругу и вечером 31 декабря появился на пороге. Был он уже серьёзно болен – туберкулёз лёгких, залеченный ялтинским климатом, дал о себе знать. Дорога в тыл была нелёгкой, месяц сапог не снимал, ноги так опухли, что пришлось сапоги резать.*

*Возвратились туда, откуда уехали в Ялту – в Чимкент, центр Южно-Казахстанской области, там отца помнили и сразу определили на работу в обком партии. Выезды в районы и аулы, жаркие совещания в прокуренных кабинетах, постоянная напряжённость, нервы… и жизнь впроголодь. У отца случались голодные обмороки. Болезнь прогрессировала. Надеясь, что горный воздух ему пойдёт на пользу, отца переводят в Тюлькубасский райком на должность зав. отделом агитации и пропаганды. В Ванновке отец не прожил и года. Умирая, на последнем дыхании послал проклятие фашизму и Гитлеру. Был август 1943 года, ему было 38 лет…*

…Более сдерживать себя я не мог, – требовалось, нет, необходимо было заявить, признаться, поведать, или что там ещё в таких случаях…

– Галина Анатольевна, вы упоминаете Голодную степь, Чимкент, Тюлькубасс, Ванновку, а ведь это всё родные мне, моим родителям, моим бабушке и дедушке и их детям, места. В Ванновке я родился. У меня просто сердце заходится, когда я слышу эти названия. В Ванновке мы жили на улице Ленина…

– Наш дом тоже был на улице Ленина, – словно кипятком обдала меня Галина Анатольевна.

– А вы помните в Ванновке огромный питомник тутовых, шелковичных деревьев, на которых выращивали гусениц тутового шелкопряда для получения шёлка? – замер я.

– Конечно. Мы с братом Володей в питомнике угощались яблоками и ягодами шелковицы.

Я едва не пал ниц перед Галиной Анатольевной: – ещё каких-то пятьдесят лет назад ***о н а!…***

– …А вы знаете, кто был директором этого питомника? Директором этого питомника был мой отец! – объявил я таким тоном, словно сообщал всему миру, что первым человеком, слетавшим в Космос, на самом деле был я.

Но и этого оказалось мало: – Галина Анатольевна и моя тётя, живущая ныне в Алупке, однокашницы – учились в одно время в одной школе…

…В Ялту семья Ивановых вернулась в 1952 году. Там же, но чуть позже, оказались и моя тётя, и мой дядя, и мои бабушка и дедушка. А мой отец служил

Среда 25 Марта Написал фельетон «Философ-
ка». Отложен. ~~Печатал написал~~ Скир-
чено написал другой рисунок к рассказу. Послал бандеры
в Ялту 15 р. Писем все лето. Фельетон в нов. вр. тоже.
Печать провел у Сазоновых. Любо поступает, не Импера-
сцену.

Четверг 26 Марта Написал фельетон «Вербные
Добрятели». Пришел Разниченко и принес то мати,
и порядочно выпили. Потом зашел Скирченко и повезли
меня на выставку в Соляной городок. Там представлен
другой Лейтенбергскому и принцу Ольденбургскому. Съ
остается зелен в Кавказской ресторан и пилипиво.

Пятница 27 Марта Написал фельетон «Понедель-
ники». Заедем к Потапову.

## Стоимость изданія

16 стопъ бумаги по 9 р. 10 к. ~~[illegible]~~ — 142 р.
(тройные) вышло 25 листовъ въ книгѣ.

Наборъ, печать, корректура, брошюровка — 257 р. 50 к.
(25 листовъ по 10 р. 30 к. за листъ) — 11 р.
За обложку
и того 410 р. 50 к.

### Стоимость рисунковъ:

клише рисунковъ — 75 р.
печатаніе ихъ — 8 р.
вклейка рисунковъ и папиросн. бумаги — 18 р.
бумага для рисунковъ простая и папирос. — 15 р.
116 р. рисунки.

и того изданіе [illegible]

11 обложки.
200 рублей.

Въ среднемъ одна по 1 р. на страницу.

уже начальником лесничества в Волховском районе Ленинградской области…

Я натура романтическая, стало быть, эмоциональная в той степени, что присуща всякой романтической натуре. Но в тот день эмоции мои зашкаливали.

«Вот так штука! Вот тебе и Шуф! Вот куда завели поиски Шуфа! А то ли ещё будет?» – билось-пульсировало в моей голове. Повторяю, – я не мистик: в мире всё объяснимо. Необъяснимое же – необъяснимо из-за отсутствия у нас должных знаний. Штука, сыгранная со мною Шуфом, имела своё объяснение, но прежде, чем всё разложить по полочкам, мне требовалось успокоиться, уединиться, поразмыслить.

Ничто так не способствует размышлению русского человека, как наличие в его руке бокала с вином.

Простившись с Галиной Анатольевной, я, купив литровый тетрапак сухого красного, направился в Приморский парк. Как и тогда, в восьмидесятых годах прошлого столетия, мне преградила дорогу диабазовая глыба, с высеченными на лбу словами основоположника «производственных» романов Максима Горького: «Моя радость и гордость – новый русский человек, строитель нового государства… Товарищ! Знай и верь, что ты – самый необходимый человек на земле. Делая твоё маленькое дело, ты начал создавать действительно новый мир». Мурашки пробежали по моей спине: и т о й страны уже нет, и государство другое, и общественная формация иная, а слова, произнесённые почти сто лет назад, будто только что сказаны! «Что значит – классика! – по-

чтительно глянул я на возвышающуюся бронзовую фигуру писателя, – и так поверни, и эдак, – всегда в масть, всегда во времени, всегда актуально!»

– Ну, Максимыч, как ты и научаешь, я пошёл делать своё маленькое дело, пошёл создавать действительно новый мир, свой мир, – махнул я рукой изваянию в косоворотке с широкополой шляпой в руке.

…Если кто полагает, что в курортной Ялте достаточно уединилищ, тот не знает курортной Ялты.

Я уединился на берегу моря, за двумя каменно-известковыми глыбами, что на границе с Ливадией, свинтил с тетрапака крышку, смочил горло тремя интеллигентными глотками вина, просеял мысли, очистил их от плевел и начал размышлять.

«В мире не существует явлений и событий, которые бы не имели причины своего возникновения и существования, – размышлял я. – Существование беспричинных событий противоречит не только принципу материального единства мира, но и принципу развития и принципу взаимосвязи всех явлений – этому учит детерминизм, – размышлял я. – Таким образом, существование беспричинного события означало бы фактически его независимость от всего остального материального мира, что входит в противоречие с законом сохранения материи и энергии, ибо существование беспричинного события доказывало бы возникновение чего-либо из ничего», – размышлял я.

Собственно, это были не размышления. Я выгребал из сусеков памяти давным-давно и неоднократ-

но читаный трактат о принципах детерминизма. Я гордился собой: ещё бы! – я не артист театра, и мне за пятьдесят, а память у меня, как новенькая! И, как бы желая отметить сей факт, я приник к тетрапаку.

В метре от меня, размахивая серебристо-синевато-зеленоватым подолом, плескалось, ведя неприкучливый разговор с берегом, неутомчивое море. На голубом стекле неба с трещинкой от самолёта, крадущегося к шлагбауму горизонта, разгулявшийся ветерок плёл затейливые кружевца облачков. Загорелая до слепящего блеска лысина солнца, спешно позолачивая прибрежные скалы остатками позолоты и капризно примеряя то одно, то другое кружевце, неостановимо клонилась к могучему плечу Ай-Тодора.

– Боже! Какая красота! – простонал я. – Какая красота! Да, ничто не может возникнуть из ничего или превратиться в ничто! – изрёк я древнюю философскую максиму, сдабривая её очередным глотком вина.

«Собственно, что произошло? – оторвав губы от тетрапака, вернулся я к размышлению. – На лицо опять всё тот же принцип детерминизма, который учит, что всякое явление при наличии определённых условий с необходимостью вызывает к жизни другое явление, называемое следствием».

Наш школьный учитель по обществоведению Евгений Павлович, наставлял нас, что любая заумь, или, как он выражался, «любая непонятка будет до смешного элементарно понятной, если объяснять её на примере человеческих отношений, допустим, между извечными антагонистами – мужчиной и женщи-

ной». Поэтому в молодости, желая приохотить жену анализировать мир с позиций детерминизма, я прибегал к одному из следующих доводов незабвенного Евгения Павловича: – «…например, – говорил я жене, – такое явление, как половая близость женщины с мужчиной при наличии определённых условий (отсутствие предохранения, наличие овуляции и т.п.) для женщины заканчивается таким следствием, как зачатие, которое, – уже как явление, – при наличии определённых условий, заканчивается, в свою очередь, таким следствием, как беременность, беременность же, – уже как явление, – вызывает к жизни другое явление или следствие, называемое родами, роды, уже как явление переходит в следствие, т.е. в материнство, материнство, в своё время, в…», и т. д., по цепочке.

Жену моя логика восхищала, но детерминизмом, как я не пыжился, она заморачиваться не стала, – принимает мир таким, каков он есть.

«Так вот, – продолжал я размышлять, – встреча с Галиной Анатольевной Ивановой и заочное знакомство с её братом, считавшим Шуфа своим учителем, встреча с этим семейством через 50 лет, пересекавшимся, пусть даже косвенно, с нашим – такое объяснимо только теорией детерминизма».

Но чем объяснить факт кладбища? Оно, – как явление – было, но оно же, уже как следствие…

Да, ничто так не связывает людей, как общее прошлое. И ничто так не разъединяет людей, как общее прошлое…

Намаявшийся день катился к вечеру. Разноцветные опахала заката уже начали остужать синюшное подбрюшье небосвода, на который нетерпеливая ночь уже забросила серебряную блесну луны.

Участившееся сердцебиение моря…; потяжелевшее дыхание ветра…; насупившаяся бровь горизонта…; внезапный, как приступ боли, вскрик птицы… закончившееся вино: – всё это навевало грусть.

Я засобирался домой, в Алупку.

**1892 – 1896 гг.**

…В августе 1892 года, вопреки нелицеприятному отзыву Чехова о поэме «Баклан», она появляется в журнале «Вестник Европы». В том же году, порвав с ненавистной чиновничьей службой в Симферопольской Казённой палате, 27-летний Шуф появляется в Петербурге.

Что он мог предъявить столичному литературному обществу? Книжечку «Крымских стихотворений», стихи и корреспонденции в «Ялтинском листке», «Южном обозрении», «Неделе»? Знакомство с, – увы!, – умершими Семёном Надсоном и Афанасием Фетом? Приятельскую переписку с Владимиром Соловьёвым и Марией Ватсон? Дружеские отношения с Константином Бальмонтом?

Как сориентироваться? К кому примкнуть? Какое литературное объединение выбрать? «Пятницы Случевского»? «Обеды беллетристов»? «Шекспировский кружок»? «Русское литературное общество»?

А пока он сотрудник, – и даже какой-то период редактор, – рабочей газеты «Петербургский листок», и «подрабатывает» на страницах еженедельных литературно-юмористических журналов «Осколки» и «Шут».

Шуф трудится над созданием своего литературного имени.

…19 февраля 1896 года Шуфа, наконец, замечают:

*«Вчера обедал у Сыромятникова-Сигмы <…> Присутствовал поэт Владимир Шуф, о котором мне нечего сказать, поскольку он не произнёс ничего примечательного. Он рассказывал о Д.Д. Минаеве, который пришёл однажды к своему приятелю и, усевшись на софу, произнёс такую импровизацию:*

*«И жестка твоя софа,*

*Как Случевского строка!»*

*<…>»,* – пометит в своём дневнике Ф.Ф. Фидлер.

Следующая его запись – от 3 марта – будет такой: *«Вчера меня посетил Шуф. Он настоятельно рекомендовал мне прочесть «Quo vadis?» Сенкевича: «Роман замечательный, каких мало в мировой литературе. Не уступает толстовским!»*

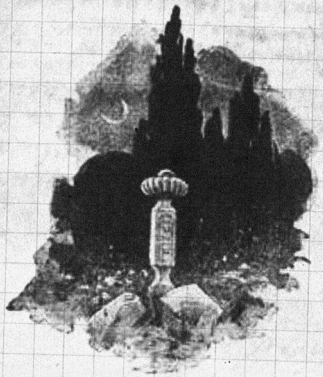
…В июне 1896 года в Петербурге выходит книга Шуфа «Могила Азиса. Крымские легенды».

Осмелюсь предложить моему преданному читателю пару легенд из этой книги.

Владиміръ Шуфъ.

# Могила Азиса

Крымскіе легенды и разсказы



С.-Петербургъ.

## Могила Азиса

Редеет летучий туман, пронизанный первыми робкими лучами рассвета, разбегаются белые облака, застилавшие даль, и поднимается за ними что-то лёгкое, стройное, словно голубая весенняя тучка: это виднеются и уходят в небо синие горы. Вот зарумянилась золотая заря, и вспыхнули горы нежным розовым светом; прозрачным, тонким фарфором кажется их тяжелый гранит, оживлённый алым отблеском восходящего солнца...

И едва загорелся восток, с минарета раздался призыв муэдзина.

Уже солнце во всём своём лучезарном сиянии стояло на небе, когда из деревенской мечети стали выходить кучки татар: выстраиваясь у дверей и протянув перед собой ладони, они произносили последнюю благодарственную молитву. Тут были седобородые старики с почтенным и набожным видом. Дети и молодые уланы,[1] свежие и весёлые, как это только что наступившее утро. Но среди толпы, полной жизни, красоты и здоровья, странно выделялась одна маленькая, безобразная фигурка: горбун Абдалла, нищий, кланяясь, просил милостыню у проходящих. Удивительное существо был этот горбун, вероятно по ошибке созданный Аллахом не так, как бы следовало. Можно было подумать, что он вылупился из яйца курицы, насиженного жабой. Молодое лицо с чёрными усами пришлось бы под стать любому джи-

гиту, а двугорбое туловище, хотя на нем была посажена красивая голова, постыдился бы признать за своё и рыжий шайтан, безобразнее которого, как известно, нет ничего на свете. Односельчане звали Абдаллу «верблюдом», но такое сравнение положительно неверно; он был гораздо хуже и вполне понимал это. Странная вещь, сотворив его таким образом, Аллах должен был бы позаботиться и о том, чтобы сердце у него соответствовало его наружности. Но тут случилось как раз наоборот: сердце у него было совсем человеческое, такое же как и у других, а может быть, даже гораздо лучше.

Впрочем, этого никто но замечал, и последняя ужаснейшая несообразность его существа оставалась видимой только для него самого и потому не вызывала насмешек...

Абдалла просил милостыни. Толстый мулла прошёл мимо него, ничего не положив в его протянутую руку. Прошли и набожные старики. Бойкий мальчишка на бегу ударил горбуна в спину вместо подаяния, и только один молодой джигит сунул ему в кулак медную монету ради праздника. А праздник был большой. Уже на селе раздавались резкие звуки зурны и даула. В зелёном саду под тенью деревьев собралась густая толпа народа смотреть на борьбу силачей, сошедшихся из разных деревень. Многие уже после жаркой схватки, раскрасневшись, с расстёгнутой грудью, тяжело подымавшейся, отдыхали, навзничь раскинувшись в траве. Круг любопытных столпился около двух, боровшихся под крикливую

музыку, мускулистых и крепких джигитов. Борцы упирались босыми ногами в землю и, схватившись за кушаки, плечо с плечом, старались пригнуть или вскинуть друг друга. Жилы напряглись на их висках, пот крупными каплями катился по лбу, и пряди волос свешивались на глаза. Наконец один изловчился, ударил противника ногою под колено, и тот упал при общем крике и торжественном тунге в честь победителя. В это время Абдалла, опираясь на самодельный костыль, подошёл к шумному кругу, стараясь заглянуть через плечи на боровшихся. Глаза его горели; казалось, он отдал бы свой последний изношенный чекмень за то, чтобы только раз, один раз в жизни помериться удалью с каким-нибудь лихим джигитом и услыхать гул общего одобрения. Но едва он приблизился, кто-то закричал: «Глядите, вот ещё Дерикойский силач идёт!» Громкий смех прокатился по всей толпе. Десятки рук втащили в круг Абдаллу, скинули с него туфли и толкали к недавнему победителю, стоявшему посредине, подпершись в бок рукою. «Валяй его, Абдалла, покажи, как горбы наставлять надо!» – орали кругом здоровые голоса. Бедный горбун барахтался, визжал, кусался, в исступлении стараясь освободиться из рук оскорбителей, и наконец всклокоченный, бледный вырвался и, сопровождаемый свистом и гиканьем, прихрамывая, побежал прочь, насколько позволял его костыль.

Встрёпанная, жалкая собачонка, поджав хвост и озираясь, уходит так под градом камней от школьников деревенского медресе.

Абдалла был уже далеко за деревней, и длинные плетни садов тянулись вдоль дороги, когда с ним встретились три молодых татарки в ярких накидках и серебряных поясах. Увидев горбуна, они не закрылись чадрою, не отвернулись в сторону, как делали обыкновенно при встрече с джигитом: маленького урода они не считали за мужчину. Толстенькая Зейнеп громко подшутила над Абдаллою так, что обе её товарки вспыхнули, как алая заря: Фатиме пригласила его на девичью вечеринку, и только чернобровая красавица Гуллизар сказала про него со вздохом: «фухаре», т. е. «бедный»!...

Долго смотрел им вслед маленький горбун, наконец вскрикнул и бросился ничком на землю. Может быть, он плакал, потому что всё его уродливое тельце иногда вздрагивало, и странные звуки, похожие на подавленное рыдание, вырывались из его горла. Даже проходившая мимо пегая кобыла с жеребёнком подозрительно посмотрела в его сторону, потянула воздух ноздрями и, небрежно подняв хвост, побежала дальше.

Многих женщин называют красивыми, но если хорошенько посмотреть, то окажется, что две трети этих красавиц никуда не годятся. У одной глаза слишком прищурены, у другой нос напоминает печёную айву, а третья так сурьмит брови, что даже целовать неприятно. К тому же далеко не все любят, чтобы их милые красили в красный цвет волосы, обводили жёлтой хной[2] ногти на пальцах и ставили из кокетства на переносице чёрное пятнышко. Другое дело

– настоящая, маленькая родинка, которая виднелась на румяной щёчке хорошенькой Гуллизар. Я не претендую на живописный слог Гафиза и не сравню Гуллизар с иранской или багдадской розой; я не скажу, что никогда журчащий фонтан гарема не кропил жемчужными каплями подобного стана, так как Гуллизар умывалась только из простого медного кумана, но от этого она не была менее свежей и прекрасной, чем любимейшая из ханских жён, или обрызганный утренней росою пурпурный цветок, полный тончайшего благоухания. Её черные глаза были выразительнее глаз дикой козы, которые плачут настоящими слезами и отражают грусть и радость, не скрытые тайно в глубине сердца. Её пухлые губки ещё не знали поцелуя, и ни одна пчёлка не собирала с них сладкого меда. Не мудрено, что даже горбун Абдалла заглядывался на такую красавицу и наконец полюбил её так, как паук любит солнце, или серый мох – прохладную свежесть ключевой воды. Я уже сказал, что сердце Абдаллы было устроено не иначе, чем у всех других людей, хотя он и был, безобразен. Горбун любил и хотел, чтобы его любили. Правда, достаточно было ему посмотреться в первую же лужу, и она убедила бы его не увлекаться излишней мечтательностью. Но он и не был самонадеян. Он любил молча и провожал блестящими глазами прекрасную Гуллизар, не смея коснуться полы её зелёного фередже или носка вышитых золотом папучей, красневших на её маленьких ножках, когда она неслышно скользила по дороге. Абдалла был

благодарен ей, что она не смеялась над ним, как другие девушки, но и слово сожаления в её устах было для него тяжело и обидно, – оно напоминало ему о его безобразии, о невозможности для бедного горбуна взаимности, любви и счастья. Абдалла часто бывал у Гуллизар, садился у порога её комнаты и, разматывая нитки, рассказывал ей чудные сказки, на которые он был большой мастер. Откуда брались у него такие нежные слова, какими различные беи и царевичи называли своих возлюбленных в его бесконечных рассказах, – не догадывалась Гуллизар, слушая их, склонив длинные ресницы и уронив на колени тонкую пряжу...

***

На краю деревни рос горбатый старый дуб, который, вероятно за некоторое сходство со своею наружностью, любил Абдалла, считая его единственным своим другом. Этому дубу он поверял все свои несчастья и горькие жалобы и, прислушиваясь к тихому шуму его густых листьев, думал, что старый дуб сочувственно с ним разговаривает, временами ему даже казалось, будто плачут над ним развесистые ветви, роняя капли вечерней росы на влажную землю. Это был огромный, столетний дуб, похожий на сгорбившегося старика и перегнувшийся своею зелёной вершиной на другую сторону маленькой речки, омывавшей его крепкие узловатые корни. В жаркий день в его сени любили отдыхать пожилые татары, обмениваясь воспоминаниями и рассказами о прошлом, но по вечерам, и в особенности ночью,

он был совершенно одинок, и многие даже боялись проходить мимо него, уверяя, что из чёрного дупла его смотрят и светятся огненные очи шайтана, и слышатся вздохи и стоны. Может быть, горькие жалобы и плач Абдаллы, проводившего иногда под старым дубом целые долгие ночи, создали это таинственное поверье. Уже солнце село за горы, и вечерние тени, как длинные призраки, вышли из глубоких ущелий и расползлись в разные стороны, покрывая сумраком потемневшую землю, когда приплёлся бедный горбун под ветви старого дуба, чтобы поверить ему свои печали и новые огорчения. Горбун сел на огромный корень, который, как согнутое колено, выставлялся у самого ствола дерева из густой травы, испещрённой голубыми фиалками, наполняющими ароматом похолодевший воздух. Одиночество приучило Абдаллу разговаривать вслух с самим собою, и он, протянув руки вечерней звёздочке, вспыхнувшей словно цветной огонёк на сумрачной вершине дальней горы, стал шептать странные слова, похожие на заклинания волшебника. «Чёрная ночь, – говорил он, – ты спустилась в моё грустное сердце, в котором светится, как та яркая искорка, горящая в синем небе, любовь к милой Гуллизар. Серый туман клубится над острыми скалами и холодной пеленой одевает мою душу. Облака тяжкой думой затмили глаза мои. Перелётный ветер не даёт мне своих шумных крыльев, чтобы улететь за море от злой тоски, которая, как ястреб ягнёнка, терзает грудь мою. Змея, ползущая под мшистыми камнями, зелёная жаба в

грязной луже и чёрная мышь, кружащая над головой моей в воздухе, имеют каждая свою подругу. Нет безобразной твари на земле и в воде, которая была бы одинока, а я, как отверженный Эблис[3], скитаюсь без любви и пристанища. Зачем шумишь ты, старый дуб? Или ты хочешь сказать мне, что и у тебя нет подруги, что и ты стоишь здесь один под дождём и бурей, кивая седою головой своей при блеске ярких молний? Неправда! – Пёстрые птички с разноцветными перьями и жёлтыми глазками порхают, поют и вьют гнёзда в твоих густых ветвях, быстрые пчёлки жужжат в твоих листьях, и радужные бабочки скрываются в них от непогоды... Милая Гуллизар! Пусть хоть одно твоё ласковое слово, как чистая капелька росы, упадёт на моё горячее сердце, иначе слёзы мои прожгут холодные камни, и они заговорят сладким языком любви!» Так говорил бедный Абдалла, и только серебряная луна, услышав его молитву, выплыла из глубины моря и, засверкав на белогривых волнах целым столбом огненных блёсток, осветила бледными голубыми лучами далёкие горы, тёмную долину и старый дуб, под которым сидел горбун. Было ли то влияние её кроткого света, или выплакал уже Абдалла своё горе, но он почувствовал, что скорбь его стала тише, что глаза его смыкаются, и воздушные грёзы, полные чар и обаяния тёплой летней ночи, спускаются на его отяжелевшие веки. Во сне ли это было, или на самом деле он подымался по крутым, горным уступам, – не помнил горбун. Только виделись ему тесные высокие

скалы, которые, как гранитные витязи в блестящих шлемах, сверкали своими голыми, остроконечными вершинами. Тропинка среди них вилась всё уже и уже; наконец два огромных камня совсем преградили дорогу. Абдалла увидел между ними маленькое отверстие и прополз в него. Тогда пред ним открылась пустынная поляна, отовсюду окружённая кольцом серых утёсов. Среди поляны виднелось маленькое возвышение из плотно сложенных, местами обвалившихся камней. Абдалла тотчас узнал разрушенную могилу Азиса[4], известного своими чудесами. Блуждающий, зелёный огонёк летал над нею, перепрыгивая с камня на камень, то опускаясь, то подымаясь над землёю, и вспыхивая, как яркая восковая свечка. Сердце Абдаллы тревожно забилось, и он, разостлав пёстрый коврик, стал на колени, протянул перед собою ладони и забормотал таинственную молитву, начертанную перстом ангела в одной из глав Корана. Абдалла просил исцеления у того, кто может врачевать всех хромых, слепых и увечных. Восторженная вера охватывала его душу, и он, в порыве её, дал обет святому сходить в Мекку и помолиться у чёрного камня Каабы, если великий Азис возвратит ему силу, красоту и здоровье, которыми должны блистать люди не только в раю, но и на земле. Абдалла клялся, что он тогда в одежде хаджи отправится ко гробу пророка прежде, чем посватается к красавице Гуллизар. И вдруг он увидел, как дрогнул зелёный огонёк на могиле Азиса, как поднялся на воздух и, опустившись прямо над его головой, кос-

нулся его волос. В священном ужасе упал Абдалла ниц и внезапно ощутил страшную боль в груди и спине. Ему казалось, что два огромных камня сдавили его маленькое тело, что оно удлинилось и выпрямилось под их гнетущей тяжестью, и когда он с диким криком вскочил на ноги, он почувствовал себя прямым и стройным, таким же, как все молодые джигиты его деревни. И тут только вспомнил Абдалла, что это случилось в великую ночь под пятницу, в десятый день лунного месяца Ашира, когда совершаются все величайшие чудеса на земле и на небе.

Абдалла кинулся к протекавшему невдалеке ручью и стал в него смотреться. Он увидел в серебристой волне, освещённой месячным сиянием, красивого юношу с лицом, похожим на его лицо, но высокого и статного, каким он никогда не был. «Неужели это я!» – восклицал он, и сердце его разрывалось от радости. Абдалла бросился на колени, поцеловал камни на могиле святого и побежал, как дикий олень, по горным склонам, прыгая с уступа на уступ и позабыв навсегда о своём жалком костыле, с помощью которого он кое-как прихрамывал прежде. Пробегая мимо тёмной пещеры, он видел, как прекрасные джины[5] попарно, рука с рукой, выходили из её глубины – одни сильные и стройные, как мужчины, другие нежные и слабые, как женщины. Они целовали друг друга и носились в прозрачном небе, качаясь на лучах месяца и сплетаясь в лёгкие хороводы. Абдалла видел, как некоторые из них умирали, бледнея, и тонким паром расплывались в воздух. В глу-

боких провалах, мелькавших мимо, светились подземные сокровища: груды золота, яркие изумруды и горевшие, как уголья, рубины, а под ногами Абдаллы бледными огоньками среди каменьев вспыхивали целебные травы. Серые скалы, походившие на грубые человеческие фигуры, высеченные из гранита, оживали под лучами месяца, зелёный мох, лепившийся по их вершинам, рассыпался длинными волосами, протягивались исполинские руки, и пламенные глаза проглядывали на покрытых морщинами лицах. Жутко было в этой безлюдной, дикой пустыне, населённой тысячами неведомых существ, наполнявших воздух и землю, но Абдалла скоро спустился с горных высот, и перед ним замигали огоньки его деревни, расположенной в тёмной котловине на берегу речки. Радостное предчувствие счастья охватило его душу, и губы его сами шептали имя его милой Гуллизар. Он уже видел всё, что его ожидает.

***

Подобрав вместо костыля суковатую палку, сгорбившись в три погибели под изодранным чекменем и нарочно прихрамывая, взошёл Абдалла на крылечко дома, где собрались молодые девушки на вечеринку. Там, вокруг старой нене,[6] в комнате, убранной цветными чадрами и полуосвещённой пламенем очага, столпилось несколько бойких черноглазых татарок, которые на этот раз присмирели, внимательно слушая страшную историю. Одни из них сидели на полу, поджав ноги, другие стояли, облокотившись на плечи товарок. Только бедовая Зейнеп не унима-

лась и, как ни упрашивала её Гуллизар, беспрестанно перебивала рассказчицу шутками и остротами. Нене говорила о проказах злых джинов, которые иногда являются людям под видом их родственников и знакомых, разговаривают о житейских дрязгах и мелочах и вдруг, приняв свой настоящий образ среди веселой беседы, пугают и сводят с ума. Когда нене остановилась на самом страшном месте рассказа, лёгкий стук в дверь заставил вздрогнуть всех девушек. И они с криком разбежались по тёмным углам. Впрочем, почти сейчас же их испуг сменился громким хохотом, так как они увидели смешную фигуру горбуна, входившего в дверь с улыбками и поклонами. Едва Абдалла ступил на порог комнаты, на него посыпался целый град орехов, стручков и насмешек. Зейнеп и две краснощёких татарки подхватили его под руки и потащили к очагу с пылавшим огоньком, у которого сидела Гуллизар, вся освещённая красноватым отблеском пламени, трепетавшего искорками и блёстками на золотых монетах её наряда. Абдаллу усадили и заставили рассказывать сказку. В сущности, девушки его очень любили за грустные песни и весёлые рассказы: что было делать без них в долгие зимние и осенние вечера, когда ветер протяжно завывает в ущельях, и чёрные тучи ходят по небу? На этот раз Абдалла рассказал сказку про Азры и Гамбера, двух несчастных влюблённых, которых всю жизнь преследовала жестокая судьба, или злая колдунья. Даже после их смерти из крови старой волшебницы вырос терновый куст и разде-

лил их одинокие могилы. Абдалла рассказывал, как поступил в работники к султану, отцу Азры, бедный Гамбер и, чтобы не узнали его, не заметили его красоты, надел на голову желудок вола, делавший Гамбера похожим на плешивого. Однажды прекрасная Азры гуляла в тенистом саду, заполненном редкими деревьями, и встретила своего дорогого Гамбера, но не узнала его в одежде работника. Тогда Гамбер подошёл к ней и, сбросив с головы воловий желудок, предстал перед ней прежним красавцем. И только сказал это Абдалла, как откинул в сторону дырявый чекмень, выпрямился и стройным джигитом явился перед очами Гуллизар. Испуганные девушки рассыпались в страхе по комнате, как мелкие орехи из передника, и гурьбой выбежали из хаты, приняв Абдаллу за шайтана, облёкшегося в образ маленького горбуна, а прекрасная Гуллизар, которой и прежде нравилось лицо горбуна, узнав его, бросилась к нему на шею и поцеловала так, как никто ещё не целовал бедного Абдаллу.

Казалось, сама лунная ночь, полная торжества, красоты и величия, праздновала свадьбу Абдаллы. Лёгкие тучки бежали по светлому небу и разносили во все концы мира, как султанские гонцы, весть о его счастье. Когда они проплывали мимо месяца, его голубые лучи озаряли их белые тюрбаны и тёмные мантии с золотою каймой. Яркие звёзды сверкали, как свадебные светильники, в мечети синего неба. Тысячи цветов и растений, как драгоценные аравийские ароматы, благоухали в мягком сумраке зелёных

садов, унизанных серебристыми огоньками светящихся червячков. В эту брачную ночь Абдалла должен был обнять свою возлюбленную Гуллизар. Уже на плоской земляной кровле одного из домов деревни убирали жениха его дружки и веселые сваты. Абдалла сидел в золотой куртке с чеканным поясом, и два цирюльника расчёсывали гребешком его мягкие курчавые волосы. Седой старик с молитвой надевал ему красные шитые поручи[7] с завязками, а несколько мальчиков в фесках, сдвинутых на затылок, держали перед ним новую барашковую шапку и цветные туфли. Музыканты-цыгане играли на скрипках, били в бубны, и два молодых джигита, расставив руки и выделывая ногами выкрутасы, танцевали друг перед другом. Густая толпа разодетых в пёстрые наряды гостей теснилась кругом, и красноватый свет праздничных огней озарял чёрные усы и довольные лица. Кружки хмельной бузы ходили по рукам, и не один плечистый молодец уже держался на ногах только с помощью своих более трезвых соседей, а известный всему околотку староста, почтенный мемет Хурт-Амерт-оглы, проливал слёзы о том, что ушла его молодость, и вспоминал, как вот так же на кровле в лунную ночь одевали и его, приготовляя к встрече невесты. Наконец с криком и музыкой проводили жениха в брачную комнату, и гости удалились в дом его родственника, чтобы там пропировать целую ночь, а на другое утро поздравить молодых и, одарив их, пожелать им счастья и успеха в их будущем хозяйстве.

Прекрасная Гуллизар в цветном кафтане, застёгнутом множеством серебряных пуговок, с ногами, связанными шёлковым шнурком, дожидалась своего жениха. Её длинные ресницы были опущены, розовые щёчки то бледнели, то вспыхивали ярким румянцем. Так краснеет стыдливая утренняя заря, принимая в свои объятия сияющий праздничный день. Как дождливые тучи с ясного неба, улетели все печали и горести Абдаллы перед солнцем его нового счастья, но едва подошёл он к своей Гуллизар, чтобы горячим поцелуем, как огненною печатью, навеки скрепить священный договор взаимной любви и верности, едва Гуллизар улыбнулась первой робкой улыбкой своему будущему мужу и повелителю, лампада погасла, и внезапно из густого мрака, как ночной туман, наполнившего комнату, выступило гневное лицо с длинной седою бородой. Зелёная чалма украшала голову страшного призрака, и над нею светился бледный огонёк. С криком ужаса упала Гуллизар на земляной пол у ног испуганного Абдаллы, и тут только он вспомнил о своём обете не жениться до путешествия в Мекку, обете, который он дал на разрушенной могиле великому Азису в благодарность за исцеление.

Печальная процессия тянулась из деревни по направлению к кладбищу. Четверо татар несли траурные носилки, в которых, обёрнутое с головы до ног в белый холст, лежало тело умершей красавицы Гуллизар. Толпа народа следовала за носилками, и только изредка общее молчание нарушалось резкими

возгласами старого муллы. Как печальное эхо повторяли их все присутствовавшие. «Аллах рагмет иллесин!» – грустным вздохом звучали слова погребальной молитвы. Унылые кипарисы, как чёрные свечи, стояли по краям дороги, где двигалась процессия. Скоро показалось вдали деревенское кладбище, расположенное на пригорке, в тени столетних деревьев. Целый лес белых каменных столбиков с пёстрыми чалмами наверху, покрывал зелёный пригорок, возвышаясь над могилами правоверных, и казался издали сонмом бледных теней, вышедших из тёмного гроба навстречу новой гостье, приближавшейся к их скорбной обители. Процессия вошла в ограду, и тело было опущено ногами к югу в глубокую нишу, вырытую в земле. Скоро тяжёлый камень навалился над новою могилой, и мулла, совершив последний обряд, удалился со всеми, провожавшими умершую, родственниками её и друзьями. Так стая птиц во время перелёта покидает своего отсталого товарища, чтобы мчаться на лёгких крыльях вперёд на дальний юг в лазурном воздухе, пронизанном золотыми лучами солнца. Только один Абдалла, никем не замеченный, ещё стоял в тени старого дуба; горькие слёзы крупными каплями катились по его щекам, сверкая, как падучие звёзды, которыми плачет небо о людских грехах и несчастиях. Сумерки прозрачной дымкой спустились на пустынное кладбище. Ветер шумел в листьях деревьев и перебегал с могилы на могилу, шелестя травой. Не то плач, не то тяжёлые вздохи слышались в его про-

тяжном завывании. И вдруг почудилось Абдалле, что две огромных тени упали с неба на землю, словно густое облако. Он увидел двух чёрных ангелов в грозном вооружении, которые приближались к новой могиле, чтобы допросить душу усопшей[8]. Страшное мгновение! «Не отворятся двери небес для тех, кто считал за ложь знамение пророка. Они не войдут в сад. Огненная геенна будет их ложем, и пламя бурным потоком потечёт над ними. Они узнают наказание, достойное дел их», – припомнились Абдалле слова Корана, и в ужасе он упал на землю.

***

Когда он очнулся, холодный пот струился по лбу его. Старый горбатый дуб шумел над ним зелёными листьями, и заря занималась на небе. И снова увидел себя Абдалла хромым, жалким нищим, уродливым горбуном, над которым смеялись все люди, и само небо издевалось, наделяя горячее сердце чудными мечтами и неисполнимыми желаниями. Думал ли Абдалла, что великий Азис наказал его за нарушаемый обет, возвратив ему его прежний вид, или сознавал, что все недавние надежды его, горе и радости были только сном? Ненависть к жизни, горькое разочарование наполнили его душу. Ему казалось, что огненное солнце, выходя из волн и обращая сверкающее море в растопленное золото, смеялось над его бедностью, что лазурное небо и одетые ярким пурпуром горы гордились красотой своей перед ним, жалким калекой. Даже маленькая голубая фиалка, расцветая в траве, улыбнулась ему прямо в

глаза, – и он в бешенстве растоптал её ногами. Один старый дуб по-прежнему сочувственно покачивал своей зелёной вершиной и протягивал длинные, чёрные сучья, словно дрожащие руки, к бедному горбуну. Абдалла развязал толстый шнурок, стягивавший его платье, и, сделав петлю, перекинул его на самую крепкую ветку, потом вскарабкался вверх по стволу и, надев петлю на шею, бросился с дерева. Маленькое горбатое тельце его заболталось в воздухе, скорчилось, вытянулось и без движенья повисло высоко над землею.

В священный день дувы[9] толпы богомольцев стекались к полуразрушенной могиле Азиса, над которой развевались зелёные значки. Тут были хромые, слепые, увечные, ждавшие исцеления. Старый афуз сидел на камне и, перебирая чётки, протягивал глиняную чашечку для подаяния. Толпа обходила несколько раз вокруг могилы, усердно молилась, и многие из страдающих неизлечимыми недугами клали обрывки своих одежд на её каменную ограду, надеясь вместе с ними оставить здесь свою болезнь. Великий Азис далеко по округе славился своими чудесами. Говорили, что близ могилы его протекает целебный ключ, видимый только для верующих. Страшные уродливые фигуры с воспалёнными глазами и гнойными ранами, прикрытыми грязными лохмотьями, двигались кругом, опираясь дрожащими руками на деревянные посохи. Белые чалмы прикрывали изъязвлённые, жёлтые лбы. Лихорадочные с изнурёнными лицами распростирались ниц перед

могилой и с воплями взывали к великому чудотворцу. В стороне стоял толстый мулла и продавал талисманы с зашитой в них «золотой дувой», молитвой об исцелении. Лучезарное, праздничное солнце озаряло грустную картину бедствий человеческих: горячие, острые камни обжигали босые ноги странников, жаркий ветер обвевал раскрытые груди, и не было ни одного ключа, чтобы утолить жажду. Но лазурные горы были так же ясны, как детская вера в сердцах молящихся, и к голубому небу подымались взоры, полные надежд и упований. «Аллах акбар, Аллах акбар!»[10] – звучали слова молитвы.

[1] – Уланами называют в Крыму молодых татар. Улан – парень.

[2] – Хна – краска для волос и ногтей.

[3] – Эблис – демон.

[4] – Азисы – мусульманские святые.

[5] – Джины – духи, бывают злые и добрые.

[6] – Нене – мать, татарки зовут так пожилых женщин.

[7] – Свадебный обычай.

[8] – По верованию мусульман, после смерти человека два ангела, Мункар и Накир, являются к его могиле, чтобы допросить его душу, ещё не покинувшую тела, о её земных делах. Этот обряд известен у татар под именем ***Салавата.***

[9] – Дува – молитва. Афузы – мелкое духовенство.

[10] – Аллах акбар – Бог велик.

# Подъ крестомъ.

## Сонетъ

Въ полночный часъ на стражи роковой
Изъ гроба встав надъ братскою могилой.
Съ винтовкою выходитъ часовой
И крестъ святой хранитъ во тьмѣ ухилой.

Ему Востокъ грозитъ враждебной силой,
Но на посту подъ бурей снѣговой
Въ Манчжуріи, вдали отчизны милой,
Онъ до утра дозоръ сберегаетъ свой.

Товарищей, въ бою погибшихъ, кости
Такъ сторожитъ и сами ждетъ солдатъ.
Когда же придутъ полки родные въ гости?

Когда блеснетъ штыковъ побѣдныхъ рядъ
И, пробудивъ уснувшихъ на погостѣ,
Орудья наши грозно заграмятъ?

В. Шуфъ

## Философъ.

Отъ жизненныхъ вопросовъ
Въ почтенномъ далекѣ,
Какъ истинный философъ,
Живу на чердакѣ.

Въ планительной надежды
Прочелъ я много книгъ,
Но жизни, какъ и прежде,
Ни мало не поотичъ.

И вотъ, на зло прогрессу,
Въ отцовскомъ колпакѣ,
Приблизившись къ Зевесу,
Живу на чердакѣ!

17 сентября 1885 г. Ялта.

## АМУЛЕТ

### Рассказ винодела

Я давно собирался навестить моего приятеля Б., хутор которого находился в нескольких верстах от Ялты. Почтовая тележка с рессорным сиденьем остановилась в облаках пыли и высадила меня у ворот покосившегося, колючего плетня, обсаженного низкорослыми деревьями. Плетень этот огораживал подошву зелёного холма, на крутизне которого стоял белый одноэтажный домик с балконом и решётчатой сушильней. Домик был покрыт черепицей и окружён молодыми, тонкими кипарисами. За ним по скату холма зеленели на дубовых кольях лозы виноградника, и виднелись тёмные кровли сараев. Внизу тянулась, спускаясь в овраг, грязная слободка, и над слободкой, над белым домиком, словно опрокинутая бухарская шапка, подымалась в отдаленье и синела своей лесистой вершиной гора Могаби. Едва я отворил ворота и взобрался на пригорок по дорожке, ведущей к хутору, на меня накинулись две злых, косматых собаки, но молодой татарин, выбежавший на их лай, отогнал их каменьями и проводил меня к небольшому крыльцу со стеклянною дверью. «Дома хозяин?» – спросил я у татарина, смотревшего на меня любопытными глазами. «Нету хозяина! – как бы с сожалением отвечал он. – Хозяин в Севастополь уехал». – «Досадно, – думал я, – опять тащиться назад по этой жаре, глотать пыль и трястись в те-

лежке?». Быть может, это было следствие усталости и раздражения, но я не жалел о том, что не увижу самого Б. Я собирался уже уехать назад, как за стеклом двери мелькнуло женское личико, дверь отворилась, и на крыльцо выбежала молодая девушка в синем обтянутом платье с широкими кисейными рукавами. Серые, живые глаза, пунцовые губки и белокурые волосы, падавшие на лоб, делали её немного бледное лицо очень привлекательным. «Да вы не подождёте ли? – весело обратилась она ко мне. – Семён Андреевич приедут завтра утром. Пожалуйте в комнату, – я сейчас прикажу вам самовар подать!», – и, не дожидаясь моего ответа, она побежала распорядиться в кухню. Татарин отворил дверь, и я после минутного колебания вошёл в просторную комнату с низким потолком, клеёнчатым диваном, шкафом и круглым столом, над которым висела дорогая бронзовая лампа, странно оттенявшая простоту всей остальной обстановки дома. В окно виднелся голубой залив моря и синие, туманные горы. Скоро показался татарин с загорелым, красивым лицом, в серой куртке, подвязанной красным кушаком, и с ярко блестевшим самоваром в руках. На столе появились густые сливки и кизиловое варенье; но я должен был сам налить себе чай, так как молодая девушка, окружая меня всевозможным вниманием, сама не показывалась. На мой вопрос татарин с какой-то странной улыбкой, словно нехотя, ответил мне, что это экономка Б. Судя по имени, она была полька – звали её Альбиной. Я не люблю полек –

хитрые, неискренние, они умеют увлекать мужчин, затрагивая в них только грубую чувственность, но, признаюсь, я заинтересовался этой невидимкой, которая, как сказочная принцесса, оставляла меня одного в своём замке, в то же время наполняя его своим присутствием: на столе появлялись то сочные, белые или розовые черешни, то сытный обед, то чай или кофе. Но предположения мои, в особенности о том, что хорошенькая Альбина была не только экономкой Б., кажется, были ошибочны. Вечером мне постлали постель в кабинете хозяина на жёстком диване, над которым висели ногайка, кинжал и ружьё в зелёном чехле. Мне не спалось. Душная южная ночь не приносила с собою прохлады, и досадные москиты, слетаясь на свет лампы, кусали лицо, шею и руки. Лукавые глаза Альбины, ямочки на её розовых щеках, вспыхнувших во время короткого разговора со мною, и голубой корсаж, стройно охватывающий талию, вертелись передо мной и не давали заснуть. Я встал с постели и отворил окно. Тёмные деревья тихо шумели в саду, и вдали мигали бесчисленные огоньки города. Чтобы не проходить через другие комнаты, я вылез в окно и пошёл по дорожке, спускавшейся под гору. С одной её стороны тянулась дубовая рощица, с другой густой виноградник. Яркие звёзды мигали на небе, и только стрекотание кузнечиков нарушало тишину молчаливой ночи. Где-то вдали, посвистывая, перекликались совки. Я люблю их однообразный, унылый крик. Он смутной тоскою отдаётся в одиноком, печальном

сердце. Не свою ли милую, может быть утраченную, кличет к себе своим жалобным свистом эта странная ночная птичка?.. Вдруг лёгкое ржанье послышалось мне в чаще соседнего кустарника, и я увидел осёдланную лошадь, которая нетерпеливо переступала копытами, привязанная к дереву ременным чунгуром[1]. Очевидно, хозяин лошади, поставив её вдалеке от строений, не желал, чтобы её заметили. Кто знает, не на свиданье ли к хорошенькой Альбине приехал какой-нибудь удалой джигит из соседней деревни? Жгучее, ревнивое чувство зависти шевельнулось во мне при этом предположении, но я спешил успокоить себя догадкой, что, скорее всего, это приехал какой-нибудь знакомый к татарину, служащему на хуторе. Когда я проходил назад мимо дома, я заметил свет только в одном окне, которое было задёрнуто белой занавеской.

Едва я влез через окошко обратно в свою комнату, мне послышался с другого конца дома громкий крик, возня, стоны. Я сорвал со стены кинжал, сунул его за сапог и со свечёй выпрыгнул в сад, чтобы узнать о случившемся, так как таинственная лошадь в саду, в связи с этим странным шумом, не обещала ничего доброго. Пробежав несколько шагов, я повернул за угол дома и увидел страшную сцену: один человек, оглушённый побоями, с красным от крови лицом, почти в бессознательном состоянии, барахтался в грязи у колёс садовой бочки, а другой, сутуловатый, приземистый, в исступлении бил его ногами; бившего я узнал тотчас, несмотря на его всклокоченные

волосы и налитые кровью, безумные глаза; это был мой знакомый айвасильский татарин Мустафа; лежал же на земле, кажется, прислуживавший мне хуторской татарин, – его лицо было до того избито, что нельзя было различить ни носа, ни глаз, ни рта. Он ещё инстинктивно подымал окровавленный руки, пытаясь защититься от ударов тяжёлых сапог Мустафы. Я хотел было кинуться на помощь к несчастному, но в это время увидел белую фигуру, уткнувшуюся в углу около лестницы. Это была Альбина. Заметив меня, она бросилась ко мне и порывистым шёпотом умоляла, чтобы я защитил её и спрятал куда-нибудь. Я поскорее загасил свечку и проводил Альбину в кабинет, но Мустафа уже заметил её отсутствие и с ругательством бегал по нашим комнатам.

Мустафа давно любил Альбину, давно – ещё до своей женитьбы. Женился он не по своей охоте. Чернобровая Суадет часто заглядывалась на удалого джигита, который не упускал случая пошутить с нею. Познакомились они на речке. Шумная вода, разлившись от таявшего в горах снега, быстро неслась по своему каменистому ложу, там, далеко за деревней, впадая в открытое море и сливая свои мутно-бурые волны с его синей, прозрачной глубиною. В садах расцветали душистые фиалки, белые подснежники, и наливались первые почки на ореховых и миндальных деревьях. Суадет, отбросив украшенное галунами покрывало, стояла на брёвнышке, выступавшем далеко в речку, и тяжёлым вальком била смоченное бельё. Молодая грудь её высоко подымалась, щёки

раскраснелись от работы, и пряди волос непослушно свесились на большие чёрные глаза. Вдруг невдалеке от неё с шумом раздвинулись ветви кустарника, заплескала вода под конскими копытами, и в речку въехал, напевая песню, незнакомый татарин. Суадет хотела было закрыться чадрою, но джигит ей крикнул: «Полно, красавица, теперь и солнце тучкой не застилается, а ты своё лицо от проезжего молодца прячешь. Поговори-ка лучше со мною ладком: кто знает, может, я и сватов за тобою к старику Ахмету зашлю!». Суадет оглянулась, видит – никого нет, и откинула с лица покрывало. «А разве ты знаешь моего отца?», – сказала она, улыбаясь джигиту. «Вот так-то лучше, красавица! Как не знать? Я ведь не из дальней деревни». – «А ты откуда же?» – «Из Ай-Василя. Ха-ха! Вот видно, что вас, девок, никуда не пускают: из соседнего села джигитов не знаете! Ну, будь здорова, джаным. Ещё часом увидимся!» И он поскакал по крутой дороге, вившейся на гору. Долго смотрела ему вслед чернобровая Суадет, пока конь и всадник не сделались маленьким, тёмным пятнышком, которое растаяло в небе, как лёгкая весенняя тучка на далёком горизонте.

Недаром познакомилась Суадет с Мустафою. Когда летнее солнце золотило гранаты и персики в яркой зелени деревьев, а душные ночи наполнял аромат расцветавших роз и звонкие соловьиные трели, когда серебристая мгла качалась и веяла на горных вершинах, как прозрачная фата на плечах красавицы, и в мягкой траве садов не слышно было шурша-

нья проползавшей змейки и шороха лёгких женских папучей[2], Мустафа подстерёг под плетнём свою красавицу. Суадет шла к соседке поболтать на досуге и считала золотые звёзды, горевшие в густой синеве ночного неба. Она уже занесла маленькую ножку, чтобы перепрыгнуть через колючий плетень, как вдруг чья-то рука в темноте сорвала с неё красную туфельку и, если бы Суадет не упала в сильные объятия джигита, то наверно она до крови исколола бы свою ножку об острый репейник. Тёмная тучка набежала в это время на золотые звёзды, которые, как зоркие очи, высматривали с неба всё происходившее на земле, и ни одна из них не могла бы рассказать, дошла ли Суадет к своей соседке, и что происходило в эту ночь в тёмном саду, обвеянном благоуханиями. Счастливые слёзы, как чистая роса на венчике только что распустившегося цветка, дрожали на длинных ресницах Суадет, когда она на заре всходила на шаткое крыльцо своего старого домика, тонувшего в зелени черешен и стройных кипарисов. Она обернулась назад и протянула свои белые руки к медленно убегавшей за гору ночной тени, словно стараясь удержать исчезавшее вместе с нею смутное, дорогое воспоминание.

Не знаю, далеко ли зашли шутки молодого джигита, но когда он отказался жениться на Суадет, она загрустила, заплакала, как осенняя непогода, жёлтыми листьями убиравшая поредевшие сады. Сорваны были последние спелые сливы, последний цветок увядал в потемневшей траве. Уже побелели от снега

горные вершины, как волосы на голове старика, и резкий ветер свистал по грязным, кривым улицам деревни. Хмурой ночью, когда все спали и погасли огни в окнах, поплелась Суадет в Ай-Василь, перешла мутную речку, дрожа от страха и холода, тихонько пробралась в дом Мустафы и села в углу комнаты. Старший брат Мустафы заметил её и, поняв в чём дело, разбудил всю семью. Самого Мустафы не было дома. Братья его и мать просили Суадет уйти, уговаривали её, но она молча сидела, закрыв лицо руками, и плакала. Свет лампочки рисовал тень от её склонённой фигуры на увешанной узорными чадрами стене. Старая мать Мустафы слёзно причитала в другом углу. Послали за Мустафой. Младший братишка его, сдвинув феску на затылок, поджав локти и шлёпая по лужам босыми ногами, побежал через всю деревню к родственнику, у которого засиделся Мустафа за доброй кружкой бузы. Узнав о случившемся, Мустафа опрометью бросился домой. Увидев Суадет, он схватился за голову, стал умолять Суадет, чтобы она ушла и не позорила его чести, но ничто не помогало. Тогда Мустафа взял её за руку и хотел выгнать силой; Суадет стала кричать, и на крик собрались люди. Дело было кончено: по закону, татарин, если в доме его застанут молодую девушку, должен на ней жениться, или оба они покрыты страшным позором и бесчестьем. Оставалось позвать муллу и совершить свадебный договор. Невесёлая была свадьба Мустафы, и не весело жилось Суадет с молодым мужем, хотя он её не обижал – пропадал

только по целым дням из дому. Мустафа после этого не забыл и не оставил своей Альбины, но она стала с ним холоднее. Он замечал её равнодушие, запивал иногда с огорчения и даже подчас бил Альбину, ревнуя её ко всем и каждому. Тогда молодая девушка совсем разлюбила его и если не рассталась с ним окончательно, то потому только, что ещё не знала, как от него отделаться. Так лёгкий хмель и желал бы порою покинуть крепкий дуб, вокруг которого он обвился, но боится призвать на его ветвистую вершину блестящую молнию, чтобы старый дуб в своём падении не раздавил и его.

Осенью поступил работником на хутор Б. красивый татарин Таир. Чёрные, вьющиеся, немного жёсткие волосы целой шапкой взбивались на его голове, и, надо сказать, он особенно тщательно ухаживал за ними. Молодое безусое лицо его было вместе лукаво и простодушно. Он долго служил где-то в кофейне, потом торговал фруктами с отцом своим в одном из южных городов России. Благодатные условия края и щедрая природа, дающая здесь человеку всё почти без усилий с его стороны, приучили Таира к сладкой лени, и он не знал удовольствия выше беспечного кейфа. Он любил только ухаживать за лошадьми, чистить и кормить их: в этом сказывалась его расовая черта, привычка, целыми столетиями укоренившаяся в его народе. Занятнее лошади была для него только женщина, и если что его удерживало на хуторе, заставляя мириться с трудной подчас для него работой, – это любовь к хорошень-

кой Альбине, за которою Таир усердно ухаживал. Он исполнял охотно все её поручения, бегал у неё на побегушках, работал за неё, мыл посуду и готовил кушанье, когда заболела кухарка, и Альбине приходилось её заменить. А как он умел жарить шашлык с луком и петрушкой, так этого я вам и передать не сумею. Но ни ухаживания, ни вздохи не помогали. Альбина была непреклонна. Однажды они собирали вдвоём виноград и складывали его в плетёные корзины. Густые лозы целым лесом подымались вокруг, и солнце пронизывало горячими лучами зелёные их листья, среди которых рдели и сверкали золотистым отливом красные и жёлтые гроздья спелого винограда. Короткие тени ложились от высоких штамбов на раскалённую, каменистую почву виноградника. В горячем воздухе пахло прелой землёй, виноградным соком и зеленью. Альбина на коленях стояла перед густым, отягощённым гроздьями кустом, и осторожно срезала виноград ножницами. Солнце, пробиваясь сквозь листья, бросало яркие блики на её зарумянившееся лицо, покрытое капельками пота, и открытую, немного загоревшую шею. Таир долго смотрел на неё, бросив ножницы и улыбаясь широкой, счастливой улыбкой. Наконец рука его нечаянно протянулась к её талии, вероятно приняв её за гибкую и тонкую виноградную лозу. Но девушка так сильно толкнула его в грудь, что Таир отшатнулся и ударился головою о штамб. Альбина улыбнулась и, лукаво взглянув на него, заговорила о богатом урожае нынешнего года. Таир однако был мра-

чен, отрезал вместе с гроздьями тонкие усики и стебельки лоз, портил кусты, и Альбина должна была наконец прогнать его с виноградника. Таир решил непременно узнать причину холодности к нему Альбины, и нет ли у него более счастливого соперника. Он караулил по целым ночам у её окошка, и вскоре ему удалось увидеть нечто такое, что окончательно разрушило его надежды. Он уже собирался взять расчёт и уйти с хутора, когда, позднею осенью, встретил на чердаке сушильни Альбину. Она вешала на верёвку мокрую блузу и обратилась к нему с вопросом: «Правда ли, Таир, что у нашего муллы можно такой амулет достать, который немилого человека разлюбить заставит, а любимого приворожит?» – «А как же! – отвечал Таир. – Есть такой амулет, только его надо зашить и на шее носить». – Если бы мне кто-нибудь его достал, я бы того любить стала», – сказала Альбина, так взглянув из-под своих длинных ресниц на Таира, что у него сердце запрыгало, и седло, которое он нёс, вырвалось из рук и покатилось со ступеньки на ступеньку лестницы, громыхая железными стременами. «Вот барин-то тебя за это не поблагодарит... разиня!», – засмеялась ему в лицо Альбина и побежала с лестницы. Долго ещё стоял Таир на сушильне, слушая, как крупные капли дождя барабанили по крыше, наконец, лицо его передёрнулось, и он прошептал: «Постой же, Мустафа, я для тебя т***о*** достану, что ты не будешь больше по чужим окошкам лазить!» Он отпросился на целый день у хозяина и на другое утро передал тайком

Альбине вышитый золотом амулет на красном ремешке. Что Альбина отблагодарила его за это, как следует, не было никакого сомнения, потому что мальчик-пастушок, служивший на ферме, рассказывал потом Мустафе самые неприятные для его самолюбия вещи про Альбину и Таира.

Поздно вечером сидел Мустафа у Альбины, в её комнате с белой пышной кроватью, белой занавеской на окне, уставленном горшками душистых цветов, и образом с горящей лампадкой в углу. Мустафа пил водку и был мрачен. Альбина стояла к нему спиной, прислонившись лбом к холодному стеклу окна. Ей виделись в темноте горящие огоньки города и ещё другие, которые передвигались, то вспыхивая, то потухая на тёмном фоне далёких гор: это светились смоляные факелы ночных охотников на перепёлок. Изредка ей слышался глухой шум моря, разбивавшего о прибрежье свои белогривые волны. Мустафа притянул её к себе за руку. Она не противилась, только брезгливая улыбка скользнула по её сжатым губам. Вдруг Мустафа сильным движением оттолкнул её от себя: он нашёл амулет и грубо сорвал его с её шеи. «Это что?» – крикнул он, сверкнув на неё глазами. Альбина бросилась отнимать, и между ними завязалась безобразная борьба. Наконец Альбина упала и со стоном стукнулась затылком об ножку кровати. Мустафа быстро разорвал амулет и прочитал у свечки слова, которые страшными заклятьями призывали вечное безумие на его голову. Он побледнел, руки его опустились, и, простояв неподвижно несколько минут, он

вышел из комнаты, не взглянув на Альбину. Таир сдержал обещание и достал Альбине амулет – более ужасный, чем она желала. Альбина повесила его на шею, не умея читать по-татарски, и не зная его содержания. Она, может быть, отказалась бы от амулета, поняв его значение, потому что она верила в его силу, как верили в чужеземных богов римляне, ставившие своих кумиров в храмах Капитолия. Живя среди татар, она перенимала и их суеверия.

С тех пор целых две недели Мустафа был пьян без просыпу. Он скакал из деревни в деревню, из шинка в шинок на своём лихом иноходце, но не мог размыкать своей тоски. Глубокое разочарование в женщинах закралось и в его грубую душу. Он иногда по-своему горько насмехался над влюблёнными, говорил, что бабе доверять нельзя, что каждая баба – ведьма и колдунья и ни за что продаст своего возлюбленного. Скоро у него подобралась бесшабашная компания гуляк и пьяниц из греков и татар, которых он щедро угощал на свой счёт. По ночам он бродил с ними близ хутора в твёрдом намерении украсть и зарезать Альбину – дело обыкновенное в татарском быту. Он казался действительно помешанным: было ли это действие амулета – не знаю, но думается мне, что иная женщина может свести с ума, и не прибегая к волшебству. А в ту ночь, когда я ночевал на хуторе, Мустафа один пробрался в сад и, подкравшись к дому, застал Альбину и Таира вместе. Он был силач, и Таир не мог с ним, конечно, справиться. Говорят, бедного молодого татарина нашли без чувств на другое утро в

слободе, куда он на коленях дополз после побоища, желая поднять тревогу. Впоследствии, прохворав несколько недель, он поправился, но был подвергнут своеобразному остракизму татарским обществом, обвинившим его в заведомом колдовстве.

И так, Мустафа бежал по нашим следам. А едва я спрятал Альбину, он, ударом ноги выломав наружную дверь, появился передо мною в столовой, дверь из которой выходила в кабинет. Очутившись в незнакомой обстановке и совершенно неожиданно увидев меня перед собою, он остановился как бы в недоумении. Так бешеный бык, раздражённый копьями и красными лоскутьями пикадоров, опрокинув на пути своём несколько всадников, встречает пешего бойца и, умерив на мгновенье яростный бег, склонив рога, вращая налитыми кровью глазами, готовится к новому, последнему нападению. Если бы я попытался оказать малейшее сопротивление, Мустафа, с которым я не мог спорить в силе и ловкости, наверно смял бы меня, как ребёнка. Но, пользуясь старым нашим знакомством, я заговорил с ним в дружески примирительном тоне, просил выслушать меня, и Мустафа грузно опустился на стул, подперев мускулистою рукой свою всклокоченную голову. Я просил Мустафу объяснить его поведение в доме моего друга и, узнав о причинах его поступка, стал говорить ему, что талисманы – вздор, что стыдно ему верить в такие пустяки; но он отвечал, будто уже давно замечает, как что-то вертится в его голове и туманит мысль. Факту неверности Альбины я не

мог ничего противопоставить, да и могли ль подействовать доводы и убеждения на такого, как он, человека, находившегося к тому же в невменяемом состоянии? Я пытался только выиграть время разговорами, надеясь, что он сам опомнится. Но ничего не помогало, он всё настойчивее требовал выдать ему Альбину и порывался искать её в соседней комнате. Мы сидели друг против друга, я видел костяную рукоять ножа, торчавшую за его сапогом, и ощупывал инстинктивно свой кинжал. В самую критическую минуту мне пришла в голову счастливая мысль. Заметив, что Мустафа немного пьян, я вздумал напоить его окончательно. На открытой полке шкафа я видел графин с водкой. Я упросил Мустафу выслушать меня ещё немного и поставил на стол водку. Мы пили рюмку за рюмкой, и Мустафа скоро совсем охмелел. У меня тоже немного вело в голове. Тогда я прямо заявил Мустафе, что не выдам ему Альбины и, едва он бросился к двери, я заслонил её, и между нами завязалась борьба. Мне легко удалось повалить пьяного Мустафу на пол, и он тут же заснул в полнейшем бесчувствии. Я отворил дверь и велел Альбине поскорее одеваться, а сам побежал за привязанной в саду лошадью. Пароход в Одессу должен был отходить по моему расчёту через час, и я надеялся потихоньку спровадить Альбину в другой город, так как эта история не могла кончиться благополучно. Альбина была вполне со мною согласна. Я посадил её на седло и повёл лошадь под уздцы кратчайшей тропинкой, извивавшейся по высохшему

руслу ручья среди камней и кустарников. В небе уже занималась заря. Вместе с темнотой ночи, казалось, исчез и страх Альбины. Восходившее солнце, осушив капли росы на цветах и деревьях, осушило слёзы и на её ресницах. Она улыбалась мне, как это голубое спокойное море, пробуждавшееся с первыми лучами рассвета.

Точно лёгкий утренний туман, скользивший по горным уступам, развивалась белая накидка на плечах молоденькой девушки, и, право, Альбина ни разу ещё не казалась мне такой хорошенькой. Может быть, это было действие утра и возбуждение от пережитых мною впечатлений. Если бы я провожал при такой обстановке не Альбину, а какую-нибудь высоко образованную девицу, то я наверное сострил бы, назвав себя её паладином, избавившим её от грозного великана, как водится в рыцарских романах. Но Альбину я мог попросить только поцеловать меня в вознаграждение, что она и исполнила с большим удовольствием, наклонившись ко мне с седла.

Вскоре после этого и я оставил Ялту, иначе вряд ли пришлось бы мне избежать мести и преследования Мустафы, раздражённого моим вмешательством. Не дай Бог никому затронуть татарина – за ним стоят все его родичи: братья, зятья и племянники.

***Конец второй книги***

---

[1] – Чунгур – второй повод, употребляемый татарами для привязывания лошадей.

[2] – Папучи – туфли с носком и одною подошвой.

## *Содержание*

Первая половина первого десятилетия 2000-х ..... 4
1897-й год ..... 14
1870-е – 1890-е годы ..... 15
1897 год ..... 19
Вторая половина первого десятилетия 2000-х ..... 53
Сестра – о брате ..... 59
Игорь Нерсесян – о друге ..... 68
Три дня спустя ..... 71
1880-е – 1890-е годы ..... 80
Вторая половина первого десятилетия 2000-х ..... 104
1892 – 1896 гг. ..... 122
Могила Азиса ..... 124
Амулет ..... 143
Рассказ винодела ..... 143

***КУДРЯВЦЕВ***
***Владимир Ильич***

Редактор – *Максим Швец*
*Художественный редактор – Марина Ясыченко*

Издательско-полиграфическая фирма «Реноме»

Подписано в печать 26.05.2014.
Формат 60x84 1/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 11. Тираж 200. Заказ №

Отпечатано в типографии издательско-полиграфическая фирма «Реноме»
192007, наб. Обводного кан., д. 40
Тел/факс (812) 766 05 66 E-mail: RENOME@comlink.spb.ru